ИНТЕРВЕНЦИЯ НА СОВЕТСКОМ СЕВЕРЕ 1918—1920 гг



ОГИЗ · АРХАНГЕЛЬСК · 1939


NLRK
00264290

ИСТПАРТ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБКОМА ВКП(б)



ИНТЕРВЕНЦИЯ НА СОВЕТСКОМ СЕВЕРЕ

1918—1920

СБОРНИК





АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
АРХАНГЕЛЬСК 1939

ИНТЕРВЕНЦИЯ НА СОВЕТСКОМ СЕВЕРЕ
1918—1920

Архоблгиз · 1939 · Архангельск

В сборнике даны воспоминания П. Рассказова, Г. Поскакухина и В. Колосова, подвергавшихся в годы интервенции на Севере аресту, заключению и каторге со стороны белогвардейцев и интервентов. Их повествования, а равно и другие материалы, вошедшие в сборник, ярко рисуют дикий произвол и зверскую расправу белогвардейцев и интервентов с рабочими и трудящимися крестьянами Севера.

М. Пирогов

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

Двадцать лет назад полчища империалистских стран—Англии, Франции и других—вторглись в пределы молодой Советской республики. Империалистские хищники в союзе с русской контрреволюцией поставили себе задачей свергнуть ненавистную им советскую власть, восстановить в нашей стране власть капиталистов и помещиков и превратить Советскую республику в колонию империалистов.

Уже на другой день Октябрьской революции—8 ноября 1917 года—английская газета „Морнинг Пост" писала: „Последователи Ленина,—будет долгим или нет их существование,—являются определенными врагами Антанты и открытыми друзьями Германии. Никаких дел поэтому с ними быть не может. Перед союзниками лишь одна задача: установить связь с русским народом, с теми его элементами, которые остаются верными союзникам. Мы полагаем, эта работа будет выполнена дружественным сотрудничеством Соединенных Штатов и Японии".

Тогда же империалисты наметили план раздела Советской республики: Север, Кавказ предполагали отдать Англии, Юг—Франции, Дальний Восток—Японии и т. д.

Связанные войной с Германией, государства Антанты не могли послать свои войска для удушения Советской республики сразу же после Октябрьской революции. Но тотчас по заключении Брестского мира они приступили к созданию базы для вмешательства в дела Советской страны: через дипломатические миссии повели переговоры с контрреволюционными элементами—кадетами, меньшевиками, эсерами и, как это вскрылось на процессе правотроцкистского блока,—с „левыми" коммунистами, троцкистами и т. д.—о свержении советской власти, а, заручившись их согласием, приступили к практическим действиям.

В Москве был создан так называемый Союз Возрождения—объединенный центр всех контрреволюционных сил в России. Союз Возрождения имел филиал в Ленинграде, отделения в Архангельске, Вологде и других городах страны. В Емецке, Архангельской губ., тоже была организация Союза Возрождения, которой руководили заводчики-миллионеры Вальневы; в Шенкурске эта организация возглавлялась офицерами, которым активно помогали правые и „левые" эсеры (Иван Боговой и другие, ныне разоблаченные враги народа).

Союз Возрождения работал по заданиям и планам Антанты. „Союзнические“ дипломатические миссии (особенно посол Франции Нуланс) были очагами контрреволюционного заговора против Советской республики.

Чтобы скрыть от советских властей свои истинные намерения, замыслы, дипломатический корпус Антанты в феврале 1918 года переехал из Ленинграда в Вологду и здесь развернул антисоветскую деятельность. В Вологду со всех сторон потянулись представители контрреволюционных организаций. Здесь они получали от дипломатов Антанты документы, деньги и задания и уезжали в разные пункты Советской страны для организации антисоветских заговоров и восстаний.

Так, например, русский капитан Чаплин, превратившись в английского капитана Томпсона, по поручению Антанты объезжал разные города и завязывал связи с контрреволюционными организациями. В Архангельск Чаплин приехал задолго до интервенции, подготовил, а затем совершил здесь „переворот“, работая в тесном контакте с интервентами, белогвардейским офицерством и другими контрреволюционными элементами.

Оперативный план удушения Советской республики был таков.

Объединенными силами интервентов и отечественной контрреволюции начать наступление на Москву, Ленинград со всех сторон: с Дальнего Востока (Япония, Колчак), с севера (англичане и французы), с юга (интервенты-французы и Каледин). Одновременно с этим вокруг Москвы, в 23 городах, на Волге, вдоль Сибирской железной дороги, в Вологде, Архангельске и в других пунктах поднимаются контрреволюционные восстания.

Реализуя эти планы, в марте 1918 года „союзники“ начали свои действия на Мурмане. Появление интервентов в Мурманске не было случайным. Мурманск связан морским путем с Англией и Францией, железной дорогой—со столицами Советской республики—Ленинградом и Москвой и как незамерзающий порт очень удобен для концентрации военных сил и снаряжения. Захватив Мурманск, „союзники“ и белогвардейщина, развивая наступательные операции, рассчитывали соединиться с Колчаком, наступавшим на Советскую республику с востока.

Вожди нашей партии Ленин и Сталин, раскрыв замыслы Антанты, принимали все меры к тому, чтобы дать отпор интервентам, и заранее подготовляли оборону Советской республики.

В Архангельск Ленин и Сталин послали специальную комиссию по разгрузке порта от запасов военного снаряжения, оставшихся от империалистской войны, и повседневно руководили этой разгрузкой. Из находящегося в советском архиве протокола Архангельского совета видно, что товарищ Сталин 27 марта 1918 года вел разговор с представителями Архангельского совета о разгрузке порта.

Благодаря Ленину и Сталину огромные военные запасы, бывшие в Архангельском порту, были вывезены в центр и в город Котлас. Эти запасы потом очень пригодились для борьбы с интервентами и белогвардейщиной на северном и других фронтах.

В апреле 1918 года Ленин и Сталин ведут разговор по прямому проводу с председателем Мурманского совета Юрьевым — Алексеевым,[1] предлагая ему ликвидировать заключенное им соглашение с союзниками.

Приводим этот разговор полностью по тексту, опубликованному в „Правде" от 21 февраля 1935 года.

„Разговор по прямому проводу Ленина и Сталина с Юрьевым

У аппарата Сталин.—Отвечайте сперва на два вопроса. Потом дадим ответ.

Вопрос первый: договор, заключенный вами с англо-французами, представляет из себя письменный договор с соблюдением формальностей или устный?

Алексеев.—Это словесное соглашение, запротоколированное дословно.

Вопрос второй: какими силами ваш совдеп располагает без Англии и Франции?

Алексеев.— Имеем 100 человек и дорожную охрану, которая формируется, а также могут быть мобилизованы до 200 моряков военного флота, обслуживающего суда мурманской флотилии.

Сталин.—Еще вопрос: продовольствие дано англичанами даром или в обмен?

Алексеев.—В счет кредита из Главного управления заграничных заказов так же, как и уголь.

Сталин.—Еще ответьте на один вопрос. Англичане никогда не помогают зря, как и французы. Скажите: какое обязательство пришлось взять совдепу за военную помощь со стороны англичан и французов?

Алексеев.—Помощь оказывалась и оказывается Мурману и Мурманскому пути потому, что им так же, как и России, необходимо сохранить и развить этот край и путь, ибо в настоящее время это единственный путь сообщения России с Англией, Францией, Америкой. Сохраняя Мурман, они делают это не ради краевых интересов, но ради своих интересов в России. Никаких обязательств поэтому от нас не требуется и не требовалось. Вот текст словесного соглашения...

Сталин.—Примите наш ответ: нам кажется, что вы немножечко попались, теперь необходимо выпутаться. Наличие своих войск в Мурманском районе и оказанную Мурману фактическую поддержку англичане могут использовать при дальнейшем осложнении международной конъюнктуры как основание для оккупации. Если вы добьетесь письменного подтверждения заявления англичан и французов против возможной оккупации, это будет первым шагом к скорой ликвидации того запутанного положения, которое создалось, по нашему мнению, помимо вашей воли. Ленин. Сталин.

Алексеев ссылается на телеграмму Троцкого.

---

[1] Алексеев — псевдоним А. М. Юрьева. (Прим. ред. „Правды").

С т а л и н. — Телеграмма Троцкого теперь ни к чему. Она не поправит дела...

А л е к с е е в. — Мы за собой никакой вины и не чувствуем. Мы не оправдываемся...“

„Ответ Ленина Юрьеву

Даю ответ т. Юрьеву: Если вам до сих пор не угодно понять советскую политику, равно враждебную и англичанам и немцам, то пеняйте на себя. Нацаренус выехал. С англичанами мы будем воевать, если они будут продолжать свою политику грабежа. Л е н и н“.

*

Юрьев, соратник предателя Троцкого, упорно срывал выполнение директив Ленина и Сталина, явно помогая захватническим стремлениям англо-французов.

В этот же период Ленин и Сталин направляют на Север советскую ревизию для помощи местным организациям в борьбе с контрреволюцией. И в это же время изменник и предатель Троцкий и другой обер-бандит Бухарин и К° проводят свою линию на соглашение с „союзниками“!

1 марта 1918 года Троцкий посылает своему единомышленнику Юрьеву-Алексееву телеграмму с требованием „принять немедленно все меры к организации обороны края и в особенности Мурманской железной дороги от немцев“, предлагая для этой цели заключать „всякие соглашения с союзниками“, и Юрьев немедленно выполнил эту директиву, заключив так называемое „словесное соглашение“ с „союзниками“.

5 марта 1918 года, после подписания Брестского мира, Троцкий ведет переговоры с представителем английского правительства Локартом, связывается с корреспондентом американской газеты „Ассошиэйтед пресс“, говорит с ними об объявлении священной войны с Германией и о провоцировании этой войны. Представители Англии, США и других стран информируют свои правительства в духе переговоров с Троцким.

Так, 5 марта 1918 года Локарт телеграфирует английскому правительству: „Сегодня имел длительное интервью с Троцким. Он осведомил меня, что на Съезде Советов 12 марта будет, повидимому, объявлена священная война Германии или предпринят такой шаг, который сделает неизбежным объявление войны со стороны Германии“. И дальше: „Для успеха этой политики необходимо, однако, чтобы был сделан хотя бы намек на поддержку со стороны союзников“.

Того же 5 марта 1918 года корреспондент „Ассошиэйтед пресс“ сообщает правительству США: „Троцкий заявил: „Цели Америки и России могут быть различны, но, если обе стороны имеют общие станции на пути, я не знаю, почему бы нам не итти вместе. Безусловно, до тех пор, пока в Германии не будет революции, Россия и Соединенные Штаты находятся на общем пути. В прошлом октябре мы не предполагали возможности священной войны против Германии, теперь мы полагаем эту войну определенно возможной“.

Предательская линия обер-бандита Троцкого особенно ярко разоблачается в письме Локарта Робинсу от 5 мая 1918 года.

„1) Он (Троцкий),—пишет Локарт,—пригласил союзных офицеров сотрудничать в деле организации новой армии.

2) Он пригласил нас послать комиссию из британских морских офицеров для того, чтобы спасти черноморский флот.

3) В каждом случае, когда мы просили у него о бумагах и помощи для наших офицеров, он предоставлял нам все, что мы желали.

4) Он предоставил все возможности для союзного сотрудничества в Мурманске.

5) Он согласился послать чешский корпус в Мурманск и в Архангельск.

6) Наконец, он сегодня заключил с нами полное соглашение касательно союзных запасов в Архангельске, согласно которому мы сможем удержать те запасы, которые необходимы для нас“.

Но подлая изменническо-бандитская деятельность Троцкого и „левых коммунистов“ (Бухарин и др.) этим не ограничилась. Как выяснилось на процессе правотроцкистского блока, „левые коммунисты“ (Бухарин и др.) и троцкисты (Троцкий и др.), будучи в сговоре с иностранной и отечественной контрреволюцией, готовили чудовищное преступление: они хотели физически уничтожить вождей нашей партии В. И. Ленина, И. В. Сталина и Я. М. Свердлова.

Выстрел эсерки Каплан 30 августа 1918 года и ранение В. И. Ленина, как это видно, подготовлялись этими подлыми реставраторами капитализма в нашей стране—обер-бандитом Троцким и Бухариным.

Возможно ли еще более яркое свидетельство предательского и изменнического сговора Бухарина и Троцкого с интервентами! Не ясно ли, что вся шпионско-реставраторская деятельность этих наймитов фашизма в позднейшее время есть логическое завершение подлейшей, омерзительной их деятельности в прошлом.

Пользуясь предательством Троцкого и других реставраторов капитализма, империалисты Антанты в июне 1918 года заключили письменное соглашение с контрреволюционерами из Мурманского совета и начали интервенцию на Севере.

В начале июня 1918 года в Мурманск прибывают два английских крейсера—„Олимпия“ и „Аттентив“, на них привозится английская пехота. Сюда приезжает английский генерал Пуль, главнокомандующий всеми вооруженными силами на Севере России, прибывает большое количество военных инструкторов, а из прибывших в Мурманск при содействии Троцкого контрреволюционных элементов (около пяти тысяч человек) формируется славяно-британский легион.

18 июня на совещании всех команд Пуль зачитал декларацию „о невмешательстве в дела России“. В тот же день в английском парламенте выступил один из вождей партии либералов—

Асквит с таким заявлением: „Развал русского противодействия Германии—вот непосредственный источник и причина наших несчастий, от которых мы страдаем на западном фронте. Всеми средствами дипломатии и, если понадобится, с помощью военной и морской поддержки мы должны, пока не поздно..., установить отношение дружбы и интимного союза с великим русским народом“.

Трудящиеся Севера, русский народ прекрасно знают цену этой „дружбы“ господ оккупантов, заливших поля нашей родины кровью лучших ее сынов...

25 июня 1918 года Ленин телеграфировал в Мурманск, что английский десант является враждебным советской власти и что всякое содействие империалистам, как прямое, так и косвенное, будет считаться государственной изменой.

Одновременно с этим принимаются меры к организации обороны не оккупированных районов Севера. 22 июня Архангельск и его районы объявляются на военном положении. 24 июня второй Архангельский губернский съезд советов на основании телеграммы Ленина и декретов советского правительства, по предложению фракции коммунистов, принял решение о мобилизации пяти возрастов в Красную армию. В резолюции по текущему моменту съезд призывал всех трудящихся Архангельской губернии „укреплять РСФСР не путем революционных фраз, а путем создания революционной дисциплинированной Красной армии“. Съезд выразил полное доверие Совнаркому и ВЦИК.

Следует отметить, что эта резолюция на съезде была принята только голосами большевиков. „Левые“ эсеры при голосовании воздерживались. Но это воздержание, как показали все действия „левых“ эсеров, было хуже, чем открытое голосование против. „Левые“ эсеры были в сговоре с интервентами, с „Союзом возрождения“ и на практике проводили их планы, что ярко вскрылось при подавлении шенкурского кулацкого восстания, организованного ими.

Объявленная мобилизация в Красную армию требовала большой работы среди населения. У малочисленной тогда большевистской организации для проведения мобилизации сил нехватало. Между тем кадеты, меньшевики, эсеры и прочие контрреволюционные элементы всеми мерами срывали создание Красной армии на Севере. Интервенты, наступая, организовывали антисоветские выступления, направленные на срыв мобилизации в Красную армию.

В Шенкурске, Емецке, Ворзогорах, по заданиям „Союза возрождения“, контрреволюционное офицерство, меньшевики, эсеры организовали кулацкие восстания, однако эти восстания, не имевшие глубоких корней в массах крестьянства, были ликвидированы до прихода интервентов.

Мобилизация в Красную армию, не удавшаяся вследствие слабости работы партийной организации, все же была поддержана крестьянством ряда волостей Пинежского, Онежского, Шенкурского и Холмогорского уездов. Так, из Подпорожской

волости, Онежского уезда, по этой мобилизации явилось в Онегу 150 человек во главе с председателем волисполкома. Всего в Онеге собралось около 600 мобилизованных. Они пробыли здесь несколько дней. Никакой организационной работы по созданию воинских частей—рот, батальонов—уездным военным комиссариатом проведено не было; хуже того, военные комиссары отдали приказ: „дней на десять разойтись по домам".

Это было большой ошибкой. Уездвоенкомат вторично не успел собрать мобилизованных, так как нагрянули интервенты.

В Архангельск явилось около 1000 мобилизованных из ближайших уездов. Мобилизованные были окружены враждебным офицерством, в результате чего крепкой воинской части в Архангельске создать до прихода интервентов не удалось.

Мобилизация в Красную армию поддерживалась в Церковницкой волости Холмогорского уезда, в Березницкой и ряде других волостей Шенкурского уезда. Но везде сказывалось отсутствие организационной и политической работы, обеспечивающей успех мобилизации. Ясно, что проходившая самотеком, при активном противодействии контрреволюционных элементов, мобилизация не могла иметь успеха. Нужно также иметь в виду и то обстоятельство, что интервенты в этот период уже заняли Сороку, Кемь и создавали угрозу Архангельску. Тогда уже началась кровавая расправа с населением занятых „союзниками" местностей, в первую очередь с преданными советской власти товарищами.

В Кеми интервенты расстреляли трех членов Кемского совета — коммунаров Каменева, Малышева и Вицупа.

„Союзнический" дипломатический корпус, действуя в тесном контакте с генералом Пулем, из Вологды перебрался в Архангельск с тем, чтобы после захвата Архангельска отсюда руководить интервенцией. С целью выиграть время и дождаться захвата интервентами Архангельска, дипломаты Антанты повели переговоры с Архангельским губисполкомом о разрешении им на некоторое время остаться в Архангельске. Архангельский губисполком, выполняя директивы советского правительства и Ленина и Сталина, ответил отказом, и дипломаты вынуждены были выехать в Кемь, в зону, оккупированную английскими войсками.

30 июля английские военные суда „Аттентив" и другие отправляются с десантами на Онегу и Архангельск. 31 июля интервенты занимают Онегу, а 2 августа—Архангельск (как выяснилось впоследствии, Архангельск, наводненный контрреволюционным офицерством, был сдан интервентам при содействии предателя Троцкого)

Захватив Архангельск, интервенты повели себя здесь, как в завоеванной колонии. В городе тотчас же было объявлено осадное положение, введена военная цензура, организованы „союзная" и белогвардейская контрразведки. Начались аресты рабочих, партийных и советских работников, не успевших эвакуироваться из Архангельска, уездов и волостей.

Архангельские тюрьмы в первый же день интервенции переполняются доотказа. Арестованные подвергаются пыткам и издевательствам, расстреливаются без всякого следствия и суда.

Отменив все права рабочих, завоеванные ими в революции, белогвардейское правительство, выполнявшее волю империалистских разбойников, установило режим самого разнузданного террора, перещеголяв времена царизма. Заводы были возвращены прежним владельцам, монастырские, церковные и бывшие частновладельческие земли, предоставленные революцией во владение крестьян, переданы обратно монастырям, попам и кулакам. В школах вновь введено преподавание закона божия. Офицеры нацепили погоны и, как в бывшей царской армии, издевались над солдатами.

Так как в тюрьмах мест нехватало, а людей, заподозренных в большевизме, было много, интервенты и белогвардейщина построили специальные каторжные тюрьмы сначала на Мудьюге, а затем на Иоканьге. В тюрьмах перебывали десятки тысяч людей. Сотни, тысячи лучших советских людей, партийных и беспартийных, расстреляны и замучены интервентами и белогвардейцами за время их господства на Севере.

Однако, несмотря на жестокие репрессии и белый террор, интервентам не удалось осуществить свои коварные планы.

Захватив Архангельск, интервенты боялись проводить мобилизацию в белую армию. Объявленный набор добровольцев в славяно-британские легионы и т. д. провалился. Рабочие и крестьяне-бедняки не шли в армии белых и интервентов. В белую армию шли добровольцами кулаки, их сыновья, офицеры царской армии, буржуазия.

Генерал Пуль—главнокомандующий всеми вооруженными силами на Севере России—заявил: „Массы оказались настолько заражены большевизмом, что объявление мобилизации (в белую армию) означало бы по существу набор кадров для Красной армии". После нескольких месяцев хозяйничания на Севере интервенты все же решились прибегнуть к массовой мобилизации. Но тут-то и сказалось то, что „заморские" разбойники не пользуются никакой поддержкой рабочих и трудящихся масс. Вовлеченные насильно в белую армию рабочие и крестьяне поднимали одно восстание за другим.

Первое восстание солдат Архангелогородского полка было 11 декабря 1918 года. Белогвардейские генералы, вместе с английскими генералами, вынуждены были подвергнуть осаде восставших, открыть по казарме пулеметный и бомбометный огонь. После подавления этого восстания войсками интервентов 13 солдат было расстреляно без всякого следствия и суда.

Несколько позднее произошли восстания в Дайеровском, пятом полку и др., причем восставшие уничтожали своих и иностранных офицеров, переходили на сторону Красной армии и героически сражались с интервентами.

С первых же дней интервенции Владимир Ильич Ленин лично следил за ходом борьбы против англо-французов на Севере.

Как только проникла в Белое море английская эскадра, Владимир Ильич решил прибегнуть к помощи авиации. Он по телефону спросил зампредреввоенсовета: „К Архангельску подошла английская эскадра, Северу угрожает интервенция. Нельзя ли послать самолеты, если наш флот и береговая оборона ничего не могут сделать?“ [1]

Зампредреввоенсовета ответил: „Сейчас спрошу“ и, обращаясь к присутствующим, передал вопрос Ильича.

Начальник воздухофлота ответил отрицательно: „В Вологде есть два авиоотряда, но из Вологды не достать, впереди же нет аэродромов; отряды малобоеспособны, только еще формируются, не проверены“.

Когда эти ответы были переданы Ильичу, он сказал: „Но ведь есть же в Архангельской губернии деревни и поля, почему же их не использовать как аэродромы?“

И, спустя несколько дней, В. И. Ленин, недовольный отъездом с фронта Кедрова, дает распоряжение военному командованию:

„Секретная. Вологда, губисполком, Кедрову. Вред вашего отъезда доказан отсутствием руководителя в начале движения англичан по Двине.

Теперь вы должны наверстывать упущенное, связаться с Котласом, послать туда летчиков немедленно и организовать защиту Котласа во что бы то ни стало. Предсовнаркома *Ленин*“.[2]

В то же время В. И. Ленин посылает на Север вооруженные отряды рабочих, моряков из Питера, Москвы, Иваново-Вознесенска и других пролетарских центров и дает директиву снабдить Северный фронт военным снаряжением и боеприпасами:

„Предписание Высшему Военному Совету

8 августа 1918 г.

Немедленно дать просимое; сегодня же отправить из Москвы; дать мне тотчас имена 6 генералов (бывших), (и адреса) и 12 офицеров генштаба (бывших), отвечающих за точное и аккуратное выполнение этого приказа, предупредив, что будут расстреляны за саботаж, если не исполнят. М. Д. Бонч-Бруевич должен мне письменно тотчас через самокатчика ответить на это.

Председатель СНК *В. Ульянов (Ленин)*“.

29 августа 1918 года В. И. Ленин пишет командующему Северным фронтом Кедрову:

„Вы мало сообщаете фактического. Присылайте с каждой оказией отчеты.

Сколько сделано фортификационных работ? По какой линии?

Какие пункты железной дороги обеспечены подрывниками, чтобы в случае движения англо-французов большими силами мы взорвали, и разрушили серьезно **такое-то** количество (ка-

---

[1] Журнал „Историк-марксист“ 1939 г., № 1, стр. 60.
[2] Ленин. Собр. соч., т. XXIX, стр. 492.

кое именно, надо дать отчет, и где именно) мостов, верст железных дорог, проходов среди болот, и т. д. и т. п.

Достаточно ли обезопасили Вологду от белогвардейской опасности? Непростительно будет, если в этом деле проявите слабость или нерадение".[1]

Исключительную роль в деле разгрома врагов советской власти в гражданской войне играл товарищ Сталин. В особо опасные места В. И. Ленин всегда направлял Сталина. И там, где появлялся товарищ Сталин, Красная армия одерживала блестящие победы. А победы Красной армии на главных — Колчаковском, Южном и Западном фронтах воодушевляли борцов Красной армии на Северном фронте.

Товарищ Сталин, как свидетельствуют недавно найденные в архиве документы, занимался делами и Северного фронта, находясь в Вятке по делам Восточного фронта. Тов. Олунин, член Архангельского губисполкома, командированный губисполкомом и реввоенсоветом 6-й армии на Печору, в телеграммах из Вятки сообщал, что он „заручился мандатом товарищей Дзержинского и Сталина на организацию транспорта", что „благодаря присутствию в Вятке Сталина и Дзержинского он получил все необходимое", что „после доклада дали приказ немедленно выдать обмундирование и оружие" и т. д. Кроме того, во время этой поездки на Восточный фронт товарищ Сталин отменил неправильную директиву Троцкого о переброске войск с главного северодвинского направления на железную дорогу, и это распоряжение товарища Сталина еще более укрепило Северный фронт.

Одновременно ЦК нашей партии, руководимый Лениным и Сталиным, дает директиву местным партийным организациям всеми мерами помогать созданию Красной армии и вести борьбу с интервентами на Северном фронте. И партийные организации Севера выполняют эту директиву.

Сразу же после захвата интервентами Архангельска начинается героическая борьба небольших, наспех сколоченных красных отрядов из рабочих, моряков, служащих и бедняцко-середняцких масс крестьянства Севера против интервентов и белогвардейщины.

Отряд Павлина Виноградова на Двине задерживает врагов на пути на Котлас—Вятку в районе Березника, не давая интервентам возможности соединиться с Колчаком. Вскоре на двинской участок Северного фронта прибывают отряды и полки Красной армии, направленные по директиве В. И. Ленина. Таким образом, директива В. И. Ленина — „организовать защиту Котласа во что бы то ни стало"—была выполнена.

На Онежском и железнодорожном направлениях останавливают интервентов, не дают им продвигаться быстро на Вологду отряды латышей, матросов, рабочих и служащих советских учреждений, вооруженных иногда старыми берданками (онеж-

[1] Ленин. Собр. соч., XXIX, стр. 494.

ский отряд), вместе с отрядами питерских, московских рабочих, матросов, прибывших на фронт по директиве В. И. Ленина.

Савинские коммунисты (Плесецкий район) с первых же дней интервенции вливаются в отряды Красной армии, а затем формируют красный партизанский отряд, героически боровшийся против интервентов.

Онежские коммунисты организуют бедноту и середняков, формируют отряд, который затем превращается в целый полк Красной армии. Церковницкие коммунисты (Холмогорский уезд) создают из бедняцко-середняцкого населения красный партизанский отряд и вместе с Красной армией громят интервентов и белых в Тарасове. На Ваге, Пинеге под руководством коммунистов также создаются отряды, полки, бригады Красной армии, которые героически сражаются против полчищ интервентов и белогвардейцев на Северном и других фронтах.

Вологодский губком партии дает директиву послать на Двину добровольцев в числе 1000 человек, завербованных еще до интервенции. Северодвинский губком мобилизует часть своей губернской партийной организации и направляет на двинской фронт. Северодвинские коммунисты быстро обрастают добровольцами из рабочих, бедняков и середняков, и вскоре создается Северодвинский полк, действующий на Двине. Устьсысольский комитет партии (Коми) формирует три отряда из коммунистов и беспартийных и направляет их на разные участки фронта.

Нужно отметить, что позднее, по директиве ЦК нашей большевистской партии, на Северный фронт направлялись отряды и полки Красной армии из северян и выходцев из центральных районов страны. Таким образом, под руководством ЦК нашей партии, Ленина и Сталина, в борьбе с интервентами была создана 6-я Красная армия Северного фронта.

Защищать советскую власть до последней капли крови, вышвырнуть вон с Севера иноземных насильников и грабителей, разгромить белогвардейщину — вот та задача, которой двадцать лет тому назад была подчинена вся работа партийных организаций Севера, а также и 6-й Красной армии Северного фронта.

Ненависть к интервентам и их наймитам — белогвардейцам, готовность беззаветно жертвовать всем для победы над врагами — вот чем горели сердца трудящихся Севера, а также преданных партии и Советской власти командиров, комиссаров, красноармейцев 6-й Красной армии, сплотившихся под знаменем партии Ленина — Сталина.

Ни недостаток вооружения, ни плохое обмундирование, ни нехватки продовольственного снабжения,—ничто не могло сломить боевого духа красных полков и партизанских отрядов, вступивших в борьбу против численно превосходивших и вооруженных до зубов вражеских полчищ. Плохо вооруженные, полуголодные и полураздетые, красные бойцы, вдохновленные единственным желанием победить, вступали в бой с интервентами и белогвардейцами и наносили им сокрушительные удары (бои на Двине, Шенкурске, Мехреньге и др.).

За год борьбы с Красной армией Северного фронта интервенты ничего не добились и вынуждены были отозвать свои войска с нашего Советского Севера.

В начале февраля 1920 года Красная армия Северного фронта перешла в наступление по всему фронту и ликвидировала остатки белобандитских полчищ. 21 февраля 1920 года красные войска заняли Архангельск.

Таким образом был ликвидирован Северный фронт. Бойцы Северного фронта были направлены на другие фронты—против Врангеля, против польских панов.

Девятнадцать месяцев Север находился под властью интервентов и белогвардейщины. Неслыханному террору, грабежу и разорению подверглись трудящиеся края за это время.

Захватив обильный природными богатствами край, интервенты с первого же дня начали здесь беззастенчивый колониальный грабеж. Из архангельского порта ежедневно уходили за границу суда, нагруженные лесом, льном, пушниной и т. д. Всего за девятнадцать месяцев интервенции англичане и французы вывезли из Архангельска 2 385 818 пудов разных грузов, в том числе одного льна 1 764 018 пудов. Стоимость этих грузов равна 50 миллионам 144 тысячам рублей золотом. Кроме того, грабители вывезли леса на 100 миллионов рублей золотом. Этим однако не исчерпывается грабеж интервентов,— они уводили лучшие морские суда, принадлежавшие советскому народу, тащили за границу наши паровозы, имущество связи и все, что только можно было стащить, пользуясь „правом" разбойника.

А убытки, причиненные захватчиками разрушением железных дорог, сожжением деревень и городов, заводов, разными реквизициями и конфискациями? Они исчисляются в сотнях миллионов рублей на золото.

Только по одной Архангельской губернии хозяйничаньем интервентов, по далеко не полным подсчетам, всего причинено убытков на шестьсот сорок девять миллионов рублей золотом!

А вот то, что не оценивается ни на какое золото.

За время интервенции через тюрьмы Архангельска прошло около 52 тысяч человек —11 процентов всего населения Архангельской губернии. В каторжной тюрьме на острове Мудьюге — „острове смерти", как справедливо называют его,—„побывало" свыше тысячи человек, из них расстреляно и погибло от болезней свыше 200 человек. В другой каторжной тюрьме— на Иоканьге — томилось свыше 1200 политкаторжан, из которых более 300 человек погибло от цынги, тифа и зверски убито белогвардейскими палачами.

Всего по „статистике" белых было расстреляно по приговорам военнополевых судов до 4000 трудящихся. А сколько расстреляно без суда — это остается неизвестным, так как в этих случаях никакой статистики не велось.

Хозяйство советского Севера было разрушено до основания. Даже лакеи англо-французского империализма — эсеры, меньше-

вики, заседавшие на земском собрании в январе 1920 года, дали такую характеристику политического и экономического положения Севера: „Промысла (кустарные, соляные, рыболовные) пали или прекращаются, промышленная жизнь замерла. Земельный вопрос не разрешен, продовольственный вопрос находится в ужасном состоянии. Недостаток установленного пайка сказывается болезненно-остро повсеместно. Семена проедены, и область ставит под угрозу новый посев. Военные повинности (гужевая и т. п.) чрезвычайно резко отражаются на сельском хозяйстве, а обязательная поставка мяса и сена является ударом, подрывающим основы сельского хозяйства. Дороги пришли в негодное состояние, народного образования нет, ибо школы либо заняты военным ведомством, либо от отсутствия ремонта разрушены. Общественное призрение отсутствует".[1]

Таковы итоги интервенции на Севере. Такова цена „дружбы" империалистов к русскому народу, „дружбы", о которой громко объявляли не прошенные народом „друзья"—английские и французские генералы. Да, такой „дружбы" никогда не забудет советский народ...

Трудящиеся нашей советской страны помнят слова товарища Сталина о капиталистическом окружении СССР, об усиливающейся угрозе войны, а также учитывают и тот факт, что вторая империалистская война началась без объявления войны, воровским образом. Ведется она фашистскими странами за передел колоний и порабощение трудящихся. Япония ведет захватническую войну против китайского народа; Италия захватила Абиссинию, в последнее время—Албанию, Германия — Австрию, Чехословакию, Клайпеду. Германский и итальянский фашизм, при прямом содействии так называемых „демократических" правительств Англии и Франции, почти три года вел кровавую войну против испанского народа, разрушая мирные города и селения варварскими бомбардировками с воздуха и т. д.

Попустительством агрессорам, политикой невмешательства „демократических" стран Англии и Франции, блокады и прямого содействия генералу Франко и германско-итальянским интервентам, шпионажа и предательства генерала Миаха и других врагов трудящихся,— сопротивление героического испанского народа было взорвано изнутри. И сейчас наемники фашистской Германии, палачи испанского народа расправляются с трудящимися Испании, хотят сделать их покорными рабами фашистских хозяев. Мировые империалистские разбойники делают в Испании, Чехословакии, Албании, Клайпеде и Китае то подлое дело, которое они пытались совершить двадцать с лишним лет назад против Великого советского народа.

Советский народ, под руководством партии Ленина—Сталина, разгромил интервентов и показал всему миру пример героической борьбы против мировых разбойников.

---

[1] Из резолюции Архангельского Уездного Земского собрания, опубликованной в газете „Возрождение Севера" № 21 от 21 января 1920 года.

Нет сомнения, что героический испанский, албанский, чехословацкий и другие народы, как и угнетенные народы других стран, придавленные сейчас фашистским сапогом,— добьются победы над фашистскими бандами Германии и Италии, а также другими капиталистическими хищниками.

Героическая борьба китайского народа с японскими самураями, рост недовольства трудящихся произволом фашизма в Германии, Италии, ненависть к фашистским захватчикам в Испании, Абиссинии, Албании и Чехословакии, укрепление народного фронта во Франции и, наконец, такой фактор, как существование и развитие Советского Союза — отечества всех трудящихся, говорят о том, что антифашистские силы растут и развиваются, и что приближается конец фашистским извергам и палачам.

Трудящиеся советского Севера, как и всего великого Советского Союза, помнят и никогда не забудут злодейского нашествия империалистов на нашу священную землю.

И если враги Советского Союза посмеют „сунуть свое свиное рыло в наш советский огород", они разобьют „свой медный лоб о советский пограничный столб", враг будет разбит и уничтожен на его же собственной территории. Порукой этому служит то, что наш советский народ, его героическая Красная армия тесно сплочены вокруг великой партии Ленина — Сталина, вокруг гениального полководца коммунистической революции товарища Сталина.

П. Рассказов

ЗАПИСКИ ЗАКЛЮЧЕННОГО[1]

От автора

Вооруженная интервенция империалистских государств Запада займет, безусловно, одно из выдающихся мест в истории Октябрьской революции.

Мне пришлось пережить эти тяжелые, кошмарные дни на русском севере, в Архангельске, где „союзники“ (российского царизма и капитализма, понятно) своей зверской расправой с рабочими и крестьянами покрыли себя позором, равного которому не знает современная история. Десятки тысяч прошедших через тюрьмы, тысячи расстрелянных, сотни заморенных голодной смертью в местах заключения,— красноречиво говорят о том произволе, который широко царил во всей своей страшной неприкрытой наготе. Усеянные могилами тысяч жертв Мхи, окружающие город Архангельск, леса и болота прифронтовой полосы, обнесенные колючей проволокой застенки, подземельные карцеры, в которых страдали и умирали тысячи заключенных; разоренные и сожженные деревни и города; разрушенное хозяйство края,— вот то страшное наследство, которое оставили „носители культуры и цивилизации“ на русском севере; тот страшный памятник, который долго будет говорить о бесчеловечной жестокости и варварстве представителей „культурного“ Запада, мечтавших вкупе и влюбе с отечественными мракобесами, авантюристами о восстановлении в России сброшенного и разбитого Октябрем буржуазного строя.

За время хозяйничания в Архангельске русской белогвардейщины и ее заморских покровителей мне пришлось быть невольным обитателем наиболее важных мест заключения, и цель моих

---

[1] „Записки заключенного“ в этом сборнике представляют собой несколько сокращенный текст одноименной книги, издававшейся в Архангельске. Книга П. Рассказова имела две части: „Военнопленные“ и „Каторжане“. Третья часть книги осталась незаконченной в виду безвременной кончины автора, эта часть нами опущена. Книга П. Рассказова выходила со следующим посвящением автора:

„Записки эти посвящаю светлой памяти товарищей по заключению в белогвардейских застенках холодного Севера, павших жертвами беспощадного белого террора.“

П. П. Рассказов в числе других заключенных был взят интервентами в качестве заложника и увезен во Францию (сентябрь 1919 года), где находился в тюрьме. И только в 1920 году он был освобожден из французского плена и вернулся в Советскую Россию. Умер 4 февраля 1922 года.

записок не разбираться в причинах и следствиях иностранного вмешательства, а лишь поведать, как страдали и умирали сотни и тысячи жертв белого террора в тех средневековых застенках, которые были воздвигнуты варварами двадцатого века.

Мне неизвестно, что происходило в Архангельске после того, как мы вынуждены были его покинуть, но уже только за время со 2 августа 1918 года по 25 сентября 1919 года из трехсот тысяч населения на территории, занятой „союзниками", 28847 человек, т.-е. 10 процентов всего населения, прошли через одну лишь Архангельскую губернскую тюрьму, посидели в ее застенках, побывали в ее казематах, около 4000 человек расстреляно по приговорам так называемых „военнополевых" судов. 310 человек умерло в заключении от голодного режима, вызвавшего заболевания цынгой и эпидемию тифа, и более 600 человек приговорено к каторжным работам.

Вот они, страшно-жуткие цифры белогвардейского террора, факты свирепых расправ объединенной контрреволюции с рабочими и крестьянами Севера.

В настоящий момент, когда я начинаю эти записки, мы все еще находимся в заключении в далекой Франции, но и до нас дошло радостное известие, что авантюра иностранного вмешательства окончилась крахом, и что почти вся территория России очищена от иностранных и русских контрреволюционных банд.

Может быть, нам не придется вернуться в советскую Россию, погибнув в застенках „республиканской" Франции, может быть, мои записки не увидят света, но я все-таки буду вести их до последней возможности, пока тлеет жизнь, пока горит еще слабая надежда, что придет тот светлый миг, когда кончатся наши испытания, и когда мы вновь вступим на свободную землю России, где гордо реет красное знамя, пугая одних близостью рокового конца их владычества над миром и предвещая другим приближение всемирного царства свободного труда.

Франция, остров Груа, форт Сюрвиль.
9 мая 1920 года.

ВОЕННОПЛЕННЫЕ

2 августа. Ясный солнечный день. В три часа заполдень союзная эскадра подошла к городу. Пристани и набережная Северной Двины переполнены разодетыми обывателями. Бросается в глаза отсутствие рабочих, а немногие из них, пришедшие „поглазеть", теряются в общей массе „чистой" публики. На русских пароходах и судах и в городе развеваются бело-сине-красные флаги.

От иностранных судов, стоящих на рейде, отваливают катера и шлюпки. Начинается высадка десанта.

На берегу начинают появляться первые отряды „победителей". Крупная и мелкая буржуазия, офицерство и чиновничество собрались здесь играть гнусную роль выразителей мнения русского народа. Еще вчера так кичившиеся своим националь-

ным самолюбием, сегодня они пресмыкаются перед железным каблуком империалистов Запада.

Громкое, но не дружное „ура“. Преимущественно визгливые и детские голоса. Колеблются над толпою сотни белых батистовых платочков.

„Победители“ торжественно вступают в покоренный город. Едва ли видели они когда-либо такую легкую „победу“. Что могли они чувствовать, кроме презрения, при виде жалкой толпы продажных рабов.

Кто видел эту омерзительную картину верноподданнических чувств перед иностранными штыками, тот никогда ее не забудет.

Вскоре по городу ходили уже иностранные патрули. С песнями маршировали иностранные отряды. Время от времени, то группами, то поодиночке тащили в тюрьму тех, кто не разделял общего торжества.

В тот же вечер пришлось быть очевидцем этого: по главной улице города отряд белогвардейцев вел человек десять красноармейцев, задержанных, повидимому, в окрестностях. Начальник конвоя—подпоручик Тамара—нес в руке „трофей победы“—красное знамя, небрежно связанное узлом. Он держал его большим и указательным пальцами с таким видом, будто нес что-то слишком грязное и вонючее. Встречная „чистая“ публика одобрительно гоготала и поощряла „героя“, и лишь немногие сконфуженно отвертывались, чтобы не видеть такого хамства. Высоко вверху, в безоблачной лазури неба, не переставали назойливо гудеть пропеллеры английских гидропланов...

Спускалась белая ночь. Над зданием губисполкома, занятым новым правительством, развевался трехцветный флаг монархии.

*

Время заполдень. В дверь стучат.

— Войдите.

На пороге появляется молодой человек в русской офицерской форме. Правую руку держит под козырек, левая лежит на кобуре револьвера.

— Вы господин N?

— Да.

Говорит, заметно волнуясь: совсем, как молодой артист, которому впервые дали ответственную роль.

— По распоряжению главнокомандующего союзными войсками вы арестованы.

Приходится „невмешательство“ во внутренние дела России испытывать на собственной шее.

На дворе стоят человек восемь верховых. Немного в стороне, также на лошади,—английский офицер. Окончательно убеждаюсь в „невмешательстве“.

Тюрьма. На дворе человек сорок арестованных ждут очереди, пока их примут и разместят по камерам.

Арестованных принимает помощник начальника. Для моей персоны посылают на квартиру за начальником.

Ничего не понимаю. Является заспанный, недовольный тем, что потревожили, начальник.

— Арестованный! Под вашу личную расписку.

Предупредительность стала понятной. Повидимому, меня считают за очень важную персону.

Офицер получает расписку.

— Может быть, кому-либо сообщить, что вы арестованы?

— Совершенно излишне.

Молодцевато звякает шпорами, козыряет, уходит.

Меня отводят в одиночку...

*

Не успел осмотреться, как одна за другою открываются обе двери, и в камеру входят Вячеславов и Мартынов—видные архангельские меньшевики.

— И вы здесь!—удивляется Вячеславов.

— А где же мне быть?

Оказывается, по поручению партии обходят тюрьму и переписывают своих членов, чтобы ходатайствовать об их освобождении.

Со мною им говорить не о чем. Уходят. Часа через два вижу в окно, что переписанных ими освобождают. Делаю соответствующий вывод, что меньшевики блокируются с правыми течениями и поддерживают союзную интервенцию.

Проходит с полчаса. Снова открывается дверь.

— Наденьте шапку. Идемте.

Выхожу. На дворе встречаюсь с другими заключенными в шинели офицерского образца.

Знакомимся.

— Тарновский, подпоручик.

— Где сидите?—задаю обычный тюремный вопрос.

— В комиссарской.

Название „комиссарской" получила одна небольшая камера, до невозможности переполненная наиболее видными заключенными. В числе их, между прочим, сидели: Гуляев—председатель Архангельского городского совета рабочих и солдатских депутатов, Диатолович — секретарь губернского совета профессиональных союзов, Виноградов—председатель коллегии по национализации торгового флота, Левачев—председатель союза рабочих лесопильных заводов и другие.

— Зачем же нас вызвали?

— Сниматься, — просто ответил мой новый знакомый.

Тут только я заметил фотографа — офицера. Нас посадили на стулья, поставленные к белой тюремной стене, написали на груди номера, щелкнул аппарат, и наши снимки присоединились к общей, пока еще немногочисленной, коллекции охранного отделения.

Пожимаем руки и расходимся по своим камерам.

Уже после я узнал, что чести быть сфотографированными удостоились лишь немногие из общей массы заключенных, — счастливцы. Но немногие из них впоследствии сохранили жизнь.

В соседней со мной камере, повидимому, никого не было. Как-то вечером я услышал, что туда кого-то привели. Вскоре меня вызывают к „телефону“.[1]

— Товарищ N?

— Да.

— Вы меня не знаете? Прапорщик Ларионов.

Это было мое первое знакомство, через толстую тюремную стену, с прапорщиком Ларионовым, имя которого позднее стало знакомым почти каждому архангелогородцу благодаря той исключительной обстановке, в которой он был расстрелян.

Теперь же он только что был доставлен в тюрьму из Пинеги, где его арестовали с частью отряда красноармейцев, которыми он командовал до переворота.

Вначале, после переворота, когда тюремный режим был выбит из своей нормальной колеи, обычные прогулки по двору не разрешались, книг из тюремной библиотеки не выдавали, свиданий с родственниками не давали. Все это, при неопределенности положения, создавало еще более тяжелые условия заключения.

Хлеба выдавали по фунту. Но вскоре нашли, что это слишком много, и урезали наполовину. О приварке говорить не приходится, и с первых же дней голод дал о себе знать.

Несколько слов о тюремной администрации.

Начальник тюрьмы Брагин. Старый тюремщик. При советской власти выдавал себя за левого эсера. После переворота маска сброшена, и Брагин со всей энергией отдается делу служения контрреволюции.

Старший помощник начальника — Лебединец, по прозвищу, данному заключенными, — Тенденция (его любимое слово). Типичный тюремщик. Второе прозвище его—Кайзер. Высокий, сухой, с худым, длинным лицом, обросшим черной бородой, с бесстрастным стеклянным взглядом, он был воплощением высшей жестокости и бесчеловечности. Впоследствии понес достойное возмездие от руки одного заключенного.

Второй помощник начальника—Воюшин. Только что назначен помощником из старших надзирателей. В тюрьме известен больше по своему прозвищу Шестерка. Это прозвище настолько приобрело права гражданства, что фамилию Воюшина знали очень немногие. Небольшого роста, кругленький, суетливый, хам в обращении с заключенными, услужливый и льстивый перед начальством. До тюремной карьеры служил половым в одном из архангельских трактиров с темной репутацией и соответствующим названием Низкий.

Вот уже полторы недели, как я в тюрьме. Дни бегут однотонно-тусклые, серые, безотрадно-скучные. Каменный мешок давит, сковывает мысль, волю и энергию. Не камера, а могильный склеп. Лежу на койке.

Неприятно лязгает замок.

— Кто еще там?

[1] Имеется в виду перестукивание через стену.

Дверь с треском отворяется.

— Одевайтесь! Да живо! Вещи берите свои и казенные. Выходите.

Мрачным, грязным коридором идем в противоположный конец. Останавливаемся. За дверью гул многочисленных голосов, но, как только надзиратель вкладывает ключ в замочную скважину, разговор смолкает, как по команде.

Переступаю порог. В недоумении останавливаюсь. Камера переполнена. Люди лежат на столе, под столом, по всему полу до самой двери, оставляя лишь почтительное расстояние вокруг испускающей невыносимое зловоние „параши".

— Куда же мне?—в недоумении озираюсь по сторонам.

— У окна есть место.

Пробираюсь, осторожно шагая через лежащих. Кто-то недовольно ворчит.

Соседи обступают меня с расспросами. Спешат услышать от „новенького" вести с воли. Разочарованы.

Окна камеры настежь открыты, но запах грязи и пота скученных человеческих тел кружит голову. Первое впечатление— жить в такой тесноте невозможно, число заключенных в камере доходит до шестидесяти человек, при норме в четырнадцать.

Состав новых товарищей по заключению самый разнообразный. Преобладают матросы с ледокола „Святогор" и военного судна „Горислава". Невольное внимание обращает на себя мальчик лет четырнадцати, беженец во время германской войны из Риги. Добывая себе кусок хлеба, работал писцом в какой-то красноармейской канцелярии и за это „преступление" засажен в тюрьму.

Здесь же впервые встречаюсь с Терехиным — председателем судового комитета на „Святогоре". Высокий, скромный, с добрым выражением глаз. Больше молчит... Впоследствии его приговорили к смертной казни. После приговора почти месяц сидел в камере „смертников" в ожидании расстрела.

Раз даже повели его на расстрел, но он со злобою бросил в лицо палачам:

— За мою голову сотни ваших слетят.

И его еще с неделю держали в „смертной", прежде чем решили прикончить.

Время в общей камере пошло значительно быстрее, чем в одиночке. Разговоры, переходящие иногда в горячие споры, занимали большую часть дня.

Через день после обхода тюрьмы прокурором меня вызывают на допрос. Спускаюсь в тюремный подвал. За большим столом, покрытым зеленым сукном, восседают белогвардейские и союзные офицеры, товарищ прокурора и следователь. Вся эта шайка сопровождает каждый вопрос нескрываемой злобой к советам. В особенности щеголяют друг перед другом „господа офицеры". Все их остроты плоски, пошлы и полны бессильной злобы.

После долгого допроса мне объявляют, что комиссия постановила содержать меня под арестом, и я возвращаюсь в камеру...

*

Утро 23 августа в тюрьме началось необычно. Против обыкновения нам не дают кипятку и не пускают умываться. С перекинутыми через плечо полотенцами мы бродим по камере, нетерпеливо поглядывая на дверь и прислушиваясь, не крикнут ли—умываться.

Вдруг в коридоре раздались громкие истерические рыдания. Мы насторожились. В камеру вталкивают К.

Во время утренней поверки он записался на прием к начальнику тюрьмы и теперь возвратился из конторы.

Дрожит, как в лихорадке, и тяжелые сдавленные рыдания душат его.

— Что с тобой?

— Там англичане...

Нервно вздрагивают его плечи.

— Вот они,— взволнованно говорит кто-то у окна.

Толкаясь, бросаемся к окнам. Несколько английских офицеров стоят на дворе тюрьмы. Среди них выделяется один, высокий, сухой, с холодным бесстрастным лицом, в фуражке с красным околышем, говорящим о его высоких чинах. Из-за угла тюрьмы торопливо выходят с полсотни английских солдат с винтовками в руках и выстраиваются под нашими окнами.

Проходит несколько минут тяжелого ожидания. Слышно, как в коридоре одна за другой открываются двери камер, чьи-то голоса выкрикивают фамилии, и десятки ног стучат, спускаясь по лестницам. В окна тюрьмы видно, как на двор выводят заключенных. Среди них много знакомых. Спрашиваем:

— Куда?

Но они не знают. Насчитываю более семидесяти человек. В камеру входят Тенденция и Шестерка в сопровождении старшего и дежурного надзирателей. Развернув лист бумаги, Тенденция поспешно выкрикивает фамилии, велит вызванным забирать вещи и выходить на двор. Все, за исключением трех, выходим на двор. Подстраиваемся к ранее вышедшим. Из тюрьмы, поспешно одеваясь на ходу и завязывая свои вещи, выходят заключенные из других камер. Появляется начальник тюрьмы. Начинается поверка. Налицо 133, по списку 134. Проверяют вторично. Одного нет. Помощники бегут обратно в тюрьму. Выбрав минуту, когда тюремная администрация отходит в сторону, вступаем в разговор с солдатами. Конвой, за исключением офицеров, не англичане, а финны, состоящие на английской службе. Куда нас ведут, им неизвестно.

— Не на расстрел?

— Может быть, но мы стрелять в вас не будем, — говорят финны.

Но это мало нас успокаивает.

— Мы сами рабочие,—продолжает финн,—есть среди нас и коммунисты. Против русских рабочих мы не пойдем.

Говоря, он зорко оглядывается по сторонам: не заметило бы начальство.

Но вот возвращаются из тюрьмы помощники. Вслед за ними выходит, поддерживаемый под руки товарищами, „беглец“. Он болен и лежал в больничной камере. Вновь начинается утомительная процедура поверки. Считают, сбиваются. Пересчитывают, перекликают по фамилиям, снова считают. Все налицо. Тюремная администрация передает нас английским офицерам.

Выстраиваемся по четыре в ряд. Конвой окружает нас кольцом. Раздаются громкие слова команды. Дружно звякают винтовки, десятки штыков, ощетинясь, блестят на солнце. Медленно, скрипя заржавленными петлями, раскрываются большие тюремные ворота. Англичанин с красным околышем, размахивая тростью, кричит что-то, пробегая мимо нас. Русская команда — шагом марш — и все мы, толкаясь, сбиваясь и торопливо подстраиваясь на ходу, двигаемся в ворота, выходим на пыльную, изрытую ямами Финляндскую улицу.

Свернули на Соборную улицу, становится ясно: ведут на пристань для отправки из города, но куда? Прохожие останавливаются и с недоумением глядят нам вслед. На углу Троицкого проспекта,[1] наиболее оживленной улицы Архангельска, закрыто движение, пока проходит наш „кортеж“. Скопились трамвайные вагоны, извозчики и масса публики. Из толпы сыплются грубые ругательства, плоские шутки и остроты. С особенной злобой „обкладывает“ нас поп. Этот скромный „служитель Христа“, сбросив маску смирения, сыплет отборною бранью. Его жирное лицо трясется от ярости, покрываясь красными пятнами.

Соборная пристань. Нет никаких признаков, куда и на чем нас отправят. На рейде французский крейсер и пароход „Вайгач“. Из амбара вытаскивают кипы одеял и связки солдатских котелков, предназначенных, повидимому, для нас. Откуда-то появляется походная кухня.

На набережной обычная толпа зевак. Встречаются родственники и знакомые увозимых. Из толпы кричат, а от нас отвечают. Все сливается в общий хаос звуков, в которых трудно что-либо уловить. Нас выстраивают лицом к реке. Предупреждают: в сторону города не поворачиваться, в противном случае будут стрелять. Эта угроза производит как раз обратное действие. Дальнейшие угрозы и щелкание ружейными затворами бесполезны. Солдаты, по распоряжению офицера, пытаются очистить набережную, но тщетно, — чем больше противодействия, тем сильнее напирает на пристань толпа.

Вдруг из толпы отделяется женщина с ребенком на руках. Другой ребенок, испуганно тараща глазенки на солдат, преграждающих дорогу штыками, судорожно вцепился руками в юбку матери. Мать плачет, рвется вперед, но ее крепко держат подбежавшие солдаты и офицер. Отец — в наших рядах, — скрепя сердце, намеренно не допускающим возражения, но дрожащим от волнения голосом просит жену уйти домой. А она плачет и

[1] Теперь улица Павлина Виноградова.

рвется. Глядя на мать, заплакал и еще крепче вцепился в юбку ребенок. Плачет и грудной. По откосу набережной с криком пробирается сквозь толпу другая женщина. Выбравшись, она быстро бежит по пустому пространству, которое отделяет нас от толпы. Офицер преграждает ей путь, и она, упав на камни пристани, бьется в истерике.

Тяжелые минуты... Без всякого предупреждения, без всякой угрозы многие из нас отвертываются к реке. Сил нет видеть эти тяжелые сцены. А что если нас продержат здесь час, два, если о нашей отправке узнает весь город; если соберутся здесь сотни женщин — наших жен, сестер, матерей, — что тогда?

„Скорей, скорей бы увезли!" — стучит в голове назойливая мысль. Томительно ползут минуты. Тяжело рыдают женщины, плачут испуганные дети. Смутно гудит толпа. Взволнованно вполголоса разговаривают заключенные. Проходят долгие, как вечность, мучительные полчаса. Медленно, осторожно подходит к пристани портовый буксир, ведя за собой железную баржу.

— Для нас...

На пристани все дрогнуло, зашевелилось, загудело. Офицеры и солдаты повеселели. Забираем свои пожитки и подвигаемся ближе к пристани.

— Заходи! — кричит конвой, и мы длинной вереницей переходим на баржу.

Нехотя спускаемся по узкой лестнице в открытый люк. Оттуда пахнет сыростью застоявшейся воды. Низко. Стоять нельзя. Согнувшись, кой-как теснимся и рассаживаемся на полу. Люк захлопывают. Воздух в трюме быстро становится спертым. Накаленная солнцем железная палуба пышет жаром. Сидим, тяжело дыша и обливаясь потом. Некоторых покидают силы, и они в изнеможении приваливаются на колени товарищей.

Вдруг пароход останавливается. Нам приказывают выйти на палубу, но без вещей. Выходим. Мы у железнодорожной ветки Бакарицы. Ошвартовываются. Бросают сходни. Нас выгоняют на берег к груде колючей проволоки, приказывая грузить ее на баржу... Работа продолжается полчаса. Успели и оборваться и поцарапаться. Грузим еще несколько ящиков продуктов. Снова загоняют в трюм, застучал пароходный винт, и мы плывем дальше. Баржа плывет мимо города. Миновали французский крейсер, остался позади „Вайгач". Проходим мимо русского „Аскольда". На корме — английский военный флаг.

Проплывают мимо деревянные стенки набережных, прерываемые зеленью лугов, а пароход бежит все вперед и вперед, все дальше и дальше от Архангельска, все ближе и ближе к Белому морю. Только теперь для всех нас становится ясным, что везут нас на остров Мудьюг, о существовании которого мы совсем было забыли.

*

Мудьюг — небольшой остров в Двинском заливе Белого моря, в шестидесяти верстах от Архангельска. От материка отделяется так называемым Сухим морем — проливом, ширина кото-

рого в наиболее узком месте версты две. В двух-трех верстах от западного берега—фарватер, по которому идут все суда в Архангельск и оттуда. Большая часть острова покрыта лесами и болотами и только прибрежная полоса луговая. Селений нет. На южной оконечности несколько створных знаков и метеорологическая станция. Верстах в восьми на север—Мудьюжский маяк. Недалеко от него две батареи, защищающие подступы к Архангельску с моря. С южной оконечности на север идет узкоколейный железнодорожный путь, отклоняющийся к Сухому морю. Он проведен без всякой насыпи, по шпалам, набросанным на землю. Эта „времянка", построенная во время войны, предназначалась для перевозки грузов с пароходов в зимний период, когда Архангельский порт замерзает. Для этой же цели на острове выстроено несколько досчатых складов для грузов, барак для рабочих и большой двухэтажный дом для администрации.

Вот те отрывочные сведения, которые мы узнали друг от друга, и которые нас интересуют, так как нет уже никаких сомнений, что нам придется быть невольными обитателями острова Мудьюга.

Между тем наша баржа плывет по зеркальному сверкающему простору Белого моря. С северо-востока виднеется земля. Ближе и ближе. Можно уже различить башни маяка, дома и зеленую цепь леса.

Это Мудьюг, мало известный до того времени широкому населению Архангельска остров. Через полгода он прогремел своей жуткой славой по всему Северному краю. Его название произносили вполголоса, при закрытых дверях.

Нянька, бывало, шопотом пугает плачущего ребенка:

— Не плачь. Услышат белые, придут, увезут на Мудьюг.

И ребенок испуганно замолкает.

Представление о Мудьюге неразрывно связано с представлением о высшем страдании, о высшей человеческой жестокости и неизбежной мучительной смерти. Это пугало для архангелогородца было куда страшнее, чем „ад кромешный" для религиозного фанатика. Кто попал на Мудьюг, тот живой труп, тот уже не вернется к жизни.

Такова репутация Острова смерти. Насколько она справедлива, увидим.

Пароход подходит к небольшой пристани на сваях. Шаланды причаливают. Нас выгоняют из трюма и заставляют выгружать на берег проволоку, провизию, одеяла, котелки и кухню. На берегу ожидают пеший и конный конвой французов-матросов и наше новое начальство.

Комендант острова—француз, морской лейтенант. Маленький, вертлявый человечек с тревожно бегающими глазками, в которых не угасают недоверие и злоба.

Его помощник, сержант, вполне соответствует своему патрону. Третий француз — военный врач. С большим револьвером у пояса и стэком в руке он лихо гарцует верхом на лошади по

морскому берегу. И последний представитель администрации — переводчик, русский белогвардеец Абросимов.

Разгрузив баржу, выходим со своими вещами на берег. Нас выстраивают и проверяют по списку. Офицеры и солдаты, сопровождавшие нас из губернской тюрьмы, всходят на пароход и отправляются обратно в Архангельск. Нам взваливают на плечи, кроме собственных вещей, тюки одеял и связки котелков, и, окруженные конвоем, мы идем, глубоко увязая в песке, по берегу моря. Некоторые, изнемогая под тяжестью поклажи, не выдерживают и падают под злобные ругательства конвоиров. Более сильные из нас, не ожидая, пока „благородный“ французский приклад прогуляется по спинам упавших, снимают с них поклажу, взваливают на свои плечи. Пройдя версты полторы, которые показались нам по крайней мере за пять, подходим к большому досчатому сараю, огибаем его, сворачиваем в маленький лесок и останавливаемся у бревенчатого барака. Сбрасываем поклажу и осматриваемся. Окна барака наполовину опутаны колючей проволокой, но работа не закончена, и круги проволоки валяются на земле. Саженях в пятнадцати большой двухэтажный дом. Начинается утомительная процедура обыска. „Гостеприимно“ открываются ворота, и мы входим в нашу новую тюрьму.

Барак саженей десять длиною и около шести шириною. Весь застроен двойными нарами. Только по бокам, у окон, аршинный проход и посредине—другой, более широкий, крестообразный. В этом проходе три круглые печи.

Сыро, грязно, темно.

Солнце закатилось. Опустились сумерки. Мы голодны: с утра ни крошки во рту. Первое наше требование — пищи и воды. После долгих переговоров выдают по две галеты и вкатывают в барак грязную вонючую бочку из-под рыбы. Наливают в нее сырой болотной воды. С жадностью набрасываемся и пьем.

До поздней ночи не умолкают разговоры о нашей дальнейшей судьбе.

— Зачем нас пригнали сюда? Что нас ожидает? Почему передали французам?—главные вопросы, которые оживленно обсуждаются, и над разрешением которых мы тщетно ломаем головы.

В бараке полумрак. Темная августовская ночь прильнула к окнам. Разговоры постепенно переходят в шопот и, наконец, совершенно замирают. Усталость берет свое. Мы засыпаем мертвым сном. Сквозь дрему смутно доносится со двора разговор французов-часовых.

*

При ярких лучах восходящего солнца барак выглядит не таким мрачным, как показался вечером. Мы проснулись и лежим на койках. Ожидаем, когда придут и ознакомят с новыми порядками. Слышатся спокойные, вполголоса разговоры.

У дверей загремели засовы, и в бараке все стихло. Вошли сержант, переводчик и часовой. Переводчик держит в руках небольшой лист белой бумаги.

— Вот здесь,—говорит он,—раскладка тех продуктов, которые вы будете получать.

Передает лист одному из заключенных, и дверь барака закрывается. Поднимается гвалт. Вполне понятно нетерпеливое желание всех нас узнать, что представляет собой раскладка. Со всех концов несется:

— Читай, читай...

— Тсс, тсс, тише... Слушай.

Наконец настает относительная тишина, и один из заключенных читает эту знаменательную раскладку, которая впоследствии стоила жизни сотням людей, уморенных голодом.

— Читай еще раз,—кричим мы, не веря своим ушам.

— Довольно неуместных шуток.

Обступают, заглядывают. Белый листок запорхал по рукам. Сомнений нет никаких. Нас сажают на полфунта сухарей, 40 золотников консервированного мяса, вернее студня, и полтора-два десятка рисовых зерен. Таким образом, нас обрекают на медленное истощение и мучительную голодную смерть. Барак гудит, как встревоженный улей, никто не обращает внимания, что вновь открылась дверь, и в барак снова вошли сержант и переводчик.

— Тише, внимание!—кричит сержант.

— Тсс... тсс...—несется со всех сторон.

— Вот правила, которым вы должны подчиняться.

Передает лист бумаги и уходит.

— Читай, читай...—загалдели во всех углах. И, как только начинают читать, в бараке наступает мертвая тишина. На лицах недоумение. Молча поглядываем друг на друга. Что такое? „Правила для военнопленных первого концентрационного лагеря на острове Мудьюге".

Крики возмущения...

— Как так! Какие мы военнопленные? На каком основании?

— Тише... Читай дальше...

К сожалению, я не помню всех тех мудрых правил, которые были нам тогда преподнесены, поэтому приведу лишь наиболее врезавшиеся мне в память.

„За покушение на жизнь лиц из администрации и гарнизона..." Затем следовала жирная черта, и резко выделялись два слова, выведенные крупным шрифтом:

— СМЕРТНАЯ КАЗНЬ.

„За побег или попытку к побегу",—гласили следующие пункты правил,—и опять жирная черта тянулась к тем же простым словам, которые молотом били по сознанию:

— СМЕРТНАЯ КАЗНЬ.

„Воспрещается"—после двоеточия длинное перечисление всего того, что нам воспрещалось.

А воспрещается нам многое. Я не помню всего. Помню лишь, что наказания за неисполнение были в худшем случае — смертная казнь и в лучшем — заключение во „французской пловучей тюрьме". К числу „запретных плодов" было отнесено и пение „бунтовских" песен.

Нас интересовал вопрос, какие песни считаются администрацией „бунтовскими“, и за разрешением его мы впоследствии обратились к коменданту острова.

Нам ответили:

— Все революционные песни.

По прочтении правил в бараке поднимается невообразимый шум, гвалт, крики возмущения. Не можем понять — почему, на каком основании нас объявили военнопленными, когда мы только подследственные заключенные. В тот же день нам заявляют, что будут установлены для нас принудительные работы. Имеющиеся среди нас офицеры не только освобождаются от работы, но даже назначаются для присмотра за исправным исполнением их другими, рядовыми заключенными.

*

Несколько слов о составе нашей партии „военнопленных“. Из 134 человек — 12 бывшие офицеры. Некоторые из них состояли при советской власти комиссарами различных учреждений, другие после демобилизации старой армии служили по вольному найму в советских учреждениях, и только прапорщик Ларионов, о котором скажем дальше, был офицером Красной армии. Из других офицеров нам придется встретиться с Виноградовым, моряком Добровольного флота, работавшим по национализации торгового флота, что и послужило причиной его ареста.

Из 120 рядовых около половины, если не больше, была молодежь в возрасте 19—20 лет, служившая непродолжительное время в рядах Красной армии.

Человек 25 были матросы Красного флота, уже вполне положительная и организованная среда. Остальные же представляли собой разнообразную штатскую массу. Тут были члены исполнительных комитетов, советов, советских организаций, профсоюзов, комиссары городские, уездные и другие.

*

В первый же день, после полудня, нас выгнали на работу. Одни вырубали лес вокруг барака, другие засыпали маленькое болото перед ним, нося песок с холмов и выравнивая, таким образом, место для будущего лагеря. Наш десяток попал на установку столбов для проволочного заграждения. В каждой партии был для присмотра офицер из заключенных.

Вечером, после работ и поверки, мы собрались обсудить положение, в котором оказались. Это было самое своеобразное из общих собраний, которое мне приходилось когда-либо видеть.

Наступала ночь. Топились печи, бросая яркие полосы света, по стенам и по потолку прыгали причудливые тени. Другого освещения не было. Все лежали на нарах по своим местам, и никого не было видно. Только по голосу можно было узнать, кто это и где он.

Председателем собрания был избран тов. Левачев—председатель союза рабочих лесопильных заводов, который впослед-

ствии вынес на себе все зверства белого террора и через год заключения был расстрелян. На обсуждение поставили вопрос об организации.

Особенно ярко уяснил положение, в котором мы находились, тов. Диатолович—секретарь Архангельского губернского совета профессиональных союзов. Он говорил, что та раскладка продуктов, которую мы имеем, установлена для того, чтобы через минимум пищи и максимум работы довести нас до полного истощения и голодной смерти; что этими дикими мерами заменяют массовые расстрелы, вызывающие всегда брожение в народе и войсках; что интервенты не остановятся ни перед какими мерами в проведении этой политики; что рассчитывать на человечное отношение со стороны правых эсеров, входящих в состав так называемого правительства Северной области, мы также не можем, и что только, не закрывая глаз на настоящее положение вещей, путем организованной взаимной поддержки мы можем бороться с теми тяжелыми условиями, в которых оказались.

Многим тогда казалось, что Диатолович слишком сгущает краски, но он тысячу раз был прав, и впоследствии большая часть из нашей партии, за исключением тридцати-сорока счастливцев, пала жертвами белого террора, будучи частью расстреляна, частью уморена голодной смертью. Сам же Диатолович сделался одной из первых жертв тифа—следствия голодного режима.

На первом собрании была признана необходимость организации, и были избраны в коллектив три лица—Левачев, Диатолович и Виноградов.

Наш коллектив просуществовал недолго. На следующий же день вновь было созвано общее собрание, на котором член коллектива Виноградов заявил, что администрация не признает наших выборов, и что ему предложено быть посредником для сношений между администрацией лагеря и заключенными. Виноградов спрашивал, как ему поступить с этим предложением, но мы окончательно потеряли уже общий язык, не могли протестовать, не в силах были дать дружный отпор французской администрации, и большинство согласилось утвердить это назначение.

Голод дал себя знать с первых же дней заключения.

По утрам, когда раздавались галеты, в тех десятках, где была молодежь, во время дележки подымался невероятный шум. Голодные, озлобленные люди с каким-то особенным безумием, с жадным блеском глаз, ползали по грязному, сырому, заплеванному полу, собирая случайно упавшие ничтожные крошки сухарей.

И эти жуткие сцены стали повторяться каждый день.

Помню, как в первые дни, срывая возвышенность для засыпки болота, откопали бочку гнилой воблы, зарытой еще во время пребывания на острове гарнизона Красной армии. Эта сгнившая рыба страшно воняла, но голод не тетка, и заключенные тайком от французов, вырывая друг у друга, хватали ее и прятали в карманы, в шапки, под рубашки.

Вечером после работы стали варить рыбу в бараке. Когда вода в котелках стала нагреваться, эта гниль расползалась, распространяя такое страшное зловоние, что невозможно было дышать, и приходилось открывать двери, чтобы впустить струю свежего воздуха.

Но еще более омерзительные сцены разыгрывались под окнами дома, где жили французы. Там выливались помои, и проходившие мимо заключенные бросались под окна и, ползая на четвереньках в помойной яме, хватали все, что могли найти мало-мальски съедобного: кости, куски грязного сала, кожуру картофеля. Интервенты, проживавшие в доме, выбирали момент и выливали на несчастных ведра помоев. Но забывавшие все, кроме голода, люди старались и в этих, вылитых на их головы помоях найти для себя отбросы пищи, а сверху звучал сытый, пьяный смех.

Царь-голод — равнодушный, страшный и беспощадный—с первых же дней властно вступил в свои права.

*

Часть заключенных работала в лесу, вырубая деревья на столбы для проволочных заграждений. Во время работ успевали собирать и прятать в карманы и под рубашку грибы, которые вечером варили и без соли ели. Вскоре из-за грибов произошел следующий случай.

Как-то, по окончании вечерней поверки, один из заключенных вместо того, чтобы итти со всеми в барак, незаметно для часовых ушел в лес. Прошло часа полтора, и никто не обнаружил его отсутствия. Вдруг мы видим в окно, что он идет из леса и несет большой узел грибов. К нему подбежал часовой и дал свисток, вызывая администрацию.

Этот заключенный был совсем мальчик, лет семнадцати, простой и наивный. Голод довел его до такого состояния, что он, не отдавая себе отчета в возможных последствиях своего поступка, пошел в лес, набрал грибов и просто, как домой, возвращался в барак. Своим наивным, детским умом, он и не подозревал в этом ничего плохого. Но не так смотрели на это наши тюремщики. Пришел лейтенант и учинил через переводчика допрос „беглецу“. А тот сконфуженно смотрел на своих палачей, не понимая, в чем дело.

После допроса его обыскали, вырвали из рук грибы и высыпали их на землю.

— Зачем им нужны грибы? Что им от меня надо? — говорил взгляд „беглеца“.

Когда его повели в барак, он порывисто бросился к рассыпанным на земле грибам и торопливо стал их собирать, но его оттащили.

Переводчик вошел в барак и заявил, что лейтенант для первого раза прощает этот „побег“, но в будущем виновные будут наказываться вплоть до расстрела.

А голод все крепчал.

Тяжелая земляная работа, не прекращавшиеся муки голода уже на третий день довели и меня до такого состояния, что, нагнувшись над ямой, я выронил из рук лопату и не мог подняться. Сержант набросился на меня с кулаками... Кое-как я дотащился в барак, лег на нары и не вставал до вечера.

Вечером с партией больных я пошел на прием к врачу. В приемной комнате за маленьким столом сидели доктор-француз и переводчик. В руках доктора был неизменный стэк, а на столе перед ним лежал револьвер. Других аттрибутов его высокого служения не было видно.

Меня спросили, чем я болен. Доктор сказал что-то переводчику.

— Вы ничего не кушайте и ходите на работы: вам нужен воздух, — перевел тот.

Санитар-матрос дал мне выпить какую-то горькую микстуру. Эти советы доктор давал неизменно всем обращавшимся к нему больным заключенным, изнуренным голодом и непосильной работой. И дальше них да горькой микстуры медицинская помощь не шла. Больше к этому мудрому эскулапу я не обращался.

Во время работ у каждой партии были один, а то и несколько часовых. Кроме того, работы время от времени обходил сержант и один-два раза в день сам лейтенант. Работать приходилось без перерывов, не отдыхая, не останавливаясь.

В особенности тяжелы были земляные работы. Для засыпки низких мест срывали возвышенности и землю носили на носилках. Одни носилки, сделанные из сырых, тяжелых досок, были достаточно тяжелы для изнуренных, голодных людей, но на них заставляли наваливать земли не под силу, и пара за парой, как тени, бродили взад и вперед, шатаясь и сгибаясь под тяжестью ноши.

Немного легче была работа на устройстве проволочных заграждений. Но непривычные к этой работе люди ходили оборванные и поцарапанные. Рукавиц для работы не давали, и руки работающих были покрыты царапинами, загрязнявшимися от проржавленной колючей проволоки. Но все это были только цветочки, а ягодки ожидали нас впереди.

*

1 сентября в лагерь прибыли из Архангельска прокурор Дуброво и лейтенант французской службы Бо, — один из наиболее видных и энергичных агентов контрразведки, именовавшейся официально — „контрразведывательный отряд штаба главковерха союзных войск". Это учреждение преследовало не только военные цели, но, главным образом, приняло на себя роль охранного отделения.

Эпидемия арестов, которая приняла чудовищные размеры, те массовые расстрелы, которые унесли впоследствии в могилу тысячи молодых жизней, обязаны той подлой, низкой и продажной работе, которую вело это объединенное учреждение великих держав „культурного" Запада. Белый террор, страшный,

жестокий, напоминающий времена средневековой инквизиции,— поддерживался и зверски проводился в жизнь „союзнической" контрразведкой.

Агентом контрразведки, как учреждения застенков, пыток и бесчеловечного мучения людей, был лейтенант Бо,— бывший крупный московский коммерсант, среднего роста, толстый, с круглой, обрюзглой бритой физиономией, напоминающей бульдога. С широкой инициативой в проявлении зверств, Бо был типичным жандармом и охранником. Под его „отеческим попечением" и находился лагерь военнопленных на острове Мудьюге.

Когда Дуброво и Бо прибыли в лагерь, несколько человек из заключенных обратились к ним с вопросами и требованиями от имени всех „военнопленных". Относительно принудительных работ и объявления нас военнопленными они не дали нам никакого определенного ответа, кроме фраз общего характера о том, что мы не люди, а „большевики, изменники родине и бандиты", для которых не может быть никаких законов и прав. На требования прибавить пищи Дуброво ответил:

— Что же вы хотите? Вам дают четыре галеты из лучшей белой муки и консервированное мясо. В таких прекрасных условиях не находимся даже мы, живущие на воле.

Что могло быть для нас, умиравших от голода, наглее и циничнее такого ответа?!

Через неделю после нашего прибытия на Мудьюг лейтенант распорядился подстричь нас всех „под машинку". Исключение составляли „господа офицеры": им дана была даже привилегия бриться, чего были лишены мы, „рядовые".

Мы не имели даже возможности умыться, так как не было ни бани, ни умывальника. Умываться приходилось из тех же котелков, которые были выданы для пищи. Ни у кого почти не было смены белья, не было возможности стирать; не выдавали мыла, и люди месяцами ходили в одной рубашке, пока она не сгнивала на теле.

Это создавало самые благоприятные условия для паразитов, которые развелись в неимоверном количестве. При отсутствии сменного белья борьба с ними была совершенно немыслима. Наблюдать за чистотой в бараке также было невозможно. Освещения почти никакого. Всего лишь две „коптилки" с фитилями, как у лампад. Только у печек, которые топились, можно было, сняв рубашку, уничтожать паразитов. Люди, чтобы хоть отчасти избавиться от этого зла, всю ночь до утра просиживали у печей, молчаливо и сосредоточенно согнув свои голые спины, беспрерывно сбрасывая в огонь паразитов.

А паразиты все же с каждым днем умножались, особенно когда число заключенных в бараке, рассчитанном максимум на 100 человек, дошло до 350. Был случай, когда у одного заключенного развелось такое неимоверное количество паразитов, что товарищи выводили его на двор и сметали паразитов с его платья метлой. По ночам, когда в бараке все стихало, проходя по полу, можно было слышать треск паразитов под ногами.

Неимоверная теснота, грязь, паразиты и голод создавали наилучшие условия для заболеваний, а администрация не только не старалась улучшить положение заключенных, но всячески стремилась сделать его еще более невыносимым. Все это впоследствии сказалось страшной эпидемией тифа.

В октябре офицеры были переведены из общего барака в особое помещение, получившее название „офицерского флигеля". Оно находилось в том же здании, но отделялось капитальной стеной, в которой была прорублена дверь в общий барак.

В офицерском флигеле были значительно лучшие условия, чем в общем бараке. Там были отдельные, хотя и в три этажа, койки, столы, скамейки...

За две недели нашего пребывания на Мудьюге все деревья на территории лагеря были вырублены, и два ряда проволочных заграждений, высотою около полуторы сажени, охватывали лагерь колючим железным кольцом.

10 сентября на Мудьюг доставили новую партию заключенных ровно сто человек.

К 10 сентября погода, ясная и теплая до того времени, резко изменилась. Подули холодные морские ветры. Ни одного дня не проходило без дождя. Промокнув до костей, мы дрожали от холодного пронизывающего ветра. У большинства не было верхней теплой одежды, многие не имели обуви и ходили, обернув ноги тряпками. Несмотря на это, во время холодной дождливой погоды не разрешалось ни войти в барак, ни спрятаться где-нибудь под прикрытием. Бродя по глубокому песку, промокшие и продрогшие, мы думали лишь об одном, как бы скорее пойти в барак. Но часы шли бесконечно долго и томительно.

Да и в бараке было не лучше: крыша протекала, и негде было укрыться от сырости, негде обсушиться, нечем заменить промокшее белье.

Лейтенант и доктор жили в семи верстах от лагеря к северной оконечности острова, где находились батареи.

11 сентября из лагеря были отправлены для работ на батареи пять плотников и прапорщик М., как офицер партии. Через два дня туда же потребовали еще четырех чернорабочих, в числе которых был отправлен и я.

Дней через десять четверых отправили обратно в лагерь. На батарее нас осталось шестеро. Здесь мы выполняли самые разнообразные работы. Мы были и плотниками, и печниками, и конопатчиками, и лесорубами.

Французские солдаты относились к нам не совсем плохо и, когда немного привыкли, стали вечером, украдкой от коменданта и сержанта, приносить нам пищу. Когда кончались работы, часовой, чтобы не стоять на дворе на холоде, обыкновенно сидел у нас в бараке.

Плохо было то, что никто из нас не владел французским языком настолько, чтобы мало-мальски объясняться, но все-таки мы ухитрялись понимать друг друга, объясняясь больше мимикой, жестами, чем словами.

*

От французов-часовых мы узнавали о том, что происходит в лагере на южной оконечности острова.

Мы слышали, что туда прибывают новые партии заключенных и обратно в Архангельск увозят самое незначительное количество. Также нам передавали, что в лагерь иногда приезжают лейтенант Бо и другие агенты союзной контрразведки и иногда производят допросы некоторых заключенных. Среди фамилий новых агентов контрразведки, игравших видную роль и имевших большое влияние, как-то раз назвали капитана Чайникова.

Дело это было после работ. Мы сидели в бараке и готовили себе скудный ужин.

—Чайников... Чайников, что-то знакомая фамилия,—как бы про себя сказал Коржановский, лежа на свой койке в темном углу.

— Чайников.... Чайников...—повторял задумчиво Коржановский.

Через четверть часа все кончили свой скудный ужин и пили чай.

— Ну, так и есть, я его знаю,—вдруг громко сказал Коржановский.

— Кого?—спросил М.

— Кого? Капитана Чайникова.

И он рассказал нам, как его арестовали, и как он случайно встретился с капитаном Чайниковым.

Вот что мы от него услышали:

— Когда я кончил срок ссылки, то остался в Архангельской губернии и поселился на станции Холмогорской. Ни в каких советских организациях не работал, и вся моя общественная деятельность ограничивалась лишь работой в местном кооперативе. Когда станцию заняли союзники, ко мне на квартиру является отряд англичан и арестует меня, жену и всех пятерых детей, из которых старшей девочке десять лет, младший — грудной. Средний мальчик в это время бегал на дворе, и при выходе мы должны были его взять. Он был босиком, и я велел ему пойти домой и надеть сапоги. Я не думал, что англичане будут иметь что-либо против того, чтобы пятилетний ребенок вошел в дом и оделся. Смешно думать, что ребенок убежит или куда-нибудь скроется. Но, как только ребенок побежал к дому, его догнал рослый англичанин и прикладом ружья ударил по спине. Мальчик упал и заплакал.

Коржановский замолчал, все мы тоже замолчали.

— Я поднял сына,—продолжал Коржановский,— взял его на руки, и нас повели на станцию. Там, под охраною, нас оставили на платформе; шел дождь, укрыться было негде, мы промокли до костей. Особенно жаль было грудного ребенка...

Голос Коржановского дрогнул. В полумраке было видно, как он смахнул с лица слезу.

— Вблизи лежал брезент, и я попросил у англичан разрешения укрыть им жену и детей. Не разрешили. Жена старалась

укрыть своим платком грудного ребенка, младшие детишки плакали, старшие просились домой. Так мы просидели под дождем часов пять-шесть, пока не пришел поезд со станции Обозерской. Нас посадили в вагон и повезли. В вагоне кроме нас оказался еще один арестованный. Это был капитан Чайников. Мы разговорились. Он бежал из Советской России, и, когда переходил фронт, его приняли за шпиона и арестовали. На станции Исакогорке мою семью освободили, и жена принесла мне хлеба, масла и табаку. У Чайникова ничего не было, и я делился с ним всем, что имел. Вместе с ним я попал в тюрьму, где нам пришлось сидеть в одной камере. Я рассказал Чайникову историю своего ареста, и он, казалось, искренно возмущался поступком англичан. Не верить мне он не имел оснований, так как видел сам, что были арестованы и моя жена и дети. Через несколько дней его освободили. Уходя, он благодарил меня за мое участие к нему и обещал без всякой просьбы с моей стороны принять все меры для моего освобождения. Я успел уже забыть его обещание, также забыл, должно быть, и он. И вот теперь он один из виднейших воротил контрразведки. Как изменчивы времена,— закончил Коржановский свой рассказ.

Просидев пять месяцев на Мудьюге без допроса и умирая на шестой месяц своего заключения от мучительной цынги, Коржановский все-таки не знал, за что его арестовали.

*

В конце сентября произошла смена гарнизона на острове. Матросы, которые до того времени составляли гарнизон, уехали на свой крейсер, возвращавшийся во Францию, их сменили матросы прибывшего в Архангельск крейсера „Гидон".

Вскоре и комендант уехал. Его заменил офицер с „Гидона", грубый и жестокий. Немного позже уехал и француз-доктор. Его заменил военный английский врач. По отношению к арестованным это был не врач, а палач. Он избивал на приеме своих подневольных пациентов, а о лечении не могло быть и речи. Из-за режима, созданного новым комендантом, и „заботливости" врача десятки людей ушли в могилу.

Кстати приведу один яркий штрих, характеризующий этих юдей.

Из деревни, находившейся на материке, за Сухим морем, на батарею приезжали ежедневно крестьяне и крестьянки. Они привозили свежую рыбу, дичь, молоко, масло, яйца и другие продукты, но за деньги их не продавали, а обменивали на муку. Надо заметить, что после оставления острова Мудьюга гарнизоном Красной армии на батарее остались запасы ржаной муки, которую французы не взяли на учет, и лейтенант распоряжался ею по своему усмотрению. Производя систематическую кражу этой муки, лейтенант лучшие вымененные на нее продукты брал себе, отдавая остальное матросам сверх того порциона, который им полагался. Но в своей жадности лейтенант и доктор не довольствовались тем, что имели бесплатный роскошный стол за

счет этой краденой муки. Видя, что „на их век муки хватит", они стали обменивать ее на оленьи рога, звериные шкуры и прочие вещи, чтобы увезти их из России как память, как трофеи своих „боевых подвигов" на русском Севере.

В середине октября из лагеря на южной оконечности острова бежали трое заключенных: Вельможный и другие, все—матросы. Ночь была темная, дождливая. На море бушевала буря. Благодаря темноте они незамеченными пробрались через проволочное заграждение и взяли стоявшую у пристани лодку с парусами. В кладовой у пристани были сложены привезенные из города посылки, и они, сломав замок, взяли из посылок необходимую одежду, провизию и уехали. Администрация, считая невозможным выехать в море в такую бурю, думала, что беглецы скрываются на острове, а лодка отпущена для того, чтобы „замести" следы. Исходя из этого предположения, лейтенант объявил остров на осадном положении. По ночам по всему острову рассылались патрули. Но все поиски не привели ни к каким результатам, и только через долгое время двое из бежавших были открыты в Архангельске. Третий (Вельможный), по слухам, застрелился или был застрелен при задержании.

После этого побега режим в лагере стал еще суровее.

*

Вскоре и смерть впервые посетила наш лагерь. Это было в конце октября. Мы только-что кончили скудный обед, голодные и озлобленные лежали на койках. Спускался и все больше сгущался туман. Сквозь грязные, местами разбитые и заткнутые тряпками стекла рам пробивался слабый свет, и жалкая обстановка грязной, тесной избы выступала во всем своем убожестве. Тяжелое молчание прервал резкий, странный звук, который ворвался неизвестно откуда и еще больше озлобил голодных и нервных людей.

— Ууу... уу... ууу,—донеслось со стороны моря, и казалось, что где-то далеко за густой стеной тумана рычит какой-то страшный, громадный зверь, поднятый из своего логовища.

— Завыла проклятая,—со злобой проговорил кто-то в углу, и тяжелый плевок звучно шлепнулся с верхней койки на пол.

— На весь день теперь,—нехотя отозвался из мрака другой.

Опять все замолчали.

— Уу... ууу,—выла в тумане сирена, навевая мрачные гнетущие мысли и бессильную злобу.

В сенях резко загремели тяжелые деревянные сапоги часового.

— Работать!—крикнул он по-французски из-за двери и в подтверждение своих слов громко застучал прикладом винтовки.

Нехотя подымались мы с коек и, одеваясь на ходу, выходили на двор. После теплой избы нас охватили холодный, сырой воздух осени и непроглядная мгла тумана. Наши товарищи пошли в казарму, а я и С. отделились от других и направились к опушке леса, где мы пилили дрова.

Завизжала пила, тянулись бесконечные минуты. Туман сгущался. Мы молча, с тупым озлоблением, дергали пилу. Все темы для разговоров были давным-давно исчерпаны, да и погода к ним не располагала и притупляла мысль.

Мы молчали. Жалобно плакала сирена. Тоскливо визжала пила. С пригорка соснового бора спускалась какая-то тень, и из-за завесы тумана вынырнула фигура человека в серой солдатской шинели. Это был русский солдат, один из двух, бывших на батарее конюхами.

— Помогай бог,—бросил он обычное приветствие, останавливаясь около нас.

— Спасибо,—ответил С., и мы прекратили работу, чтобы отдохнуть, поставили пилу и стали завертывать „цыгарки".

— А у вас „там" вчера умер один,—сказал солдат.

Мы поняли, что „там"—это в лагере, откуда мы присланы.

— Болен был, что ли?—спросил С.

— Нет, с голода, должно быть,—ответил каким-то слишком простым и безразличным тоном солдат.

— С голода... какой ужас!..—пронеслась мысль.

В моей памяти ярко встал большой грязный барак, набитый, как бочка сельдями, людьми, голодными, полураздетыми и грязными. Эта первая смерть, смерть от истощения, в первую минуту, под свежим впечатлением услышанного известия, казалась мне началом того страшного конца, который ждет всех заключенных.

— Посылали в деревню за попом... Поп отказался.—Не буду,—говорит,—большевика хоронить.

После побега Вельможного и его товарищей лейтенант распорядился обнести нашу избу двумя рядами проволочных заграждений, а вверху построить крытую галерею, проходящую над нашей крышей.

На этой галерее дежурил часовой. По ночам стук сапог над головой подолгу не давал нам спать.

Когда мы кончили обносить проволокой свой барак, наступили первые слабые морозы. Снег еще не выпал. Дни стояли ясные, солнечные и с легким морозом. В один из таких дней нас послали с часовым версты за полторы от батареи, к северной оконечности острова. Там в лесу, в полуверсте от берега, был небольшой амбар-склад. Мы должны были взять из этого склада три шарообразные мины и оттащить их на берег моря. Не соблюдая никакой осторожности, мы потащили мины, пуская их под пригорки кубарем. Мины наталкивались одна на другую, на пни, на камни и деревья. Часовой во время этой работы держался от нас на приличном расстоянии. Позднее, когда мы вытащили их на берег и вернулись на батарею, узнали, что лейтенант предупреждал часового, чтобы он не подходил близко к нам в то время, когда мы будем тащить мины. Нас об опасности, конечно, не предупреждали.

20 ноября был первый крепкий мороз. Накануне выпал снег. Реомюр показывал минус 15°. Вечером за час до окончания ра-

боты мы получили распоряжение—срочно обнести колючей проволокой старый ледник, находящийся вблизи нашего барака. Он был построен в горе и обрыт землею. Недели за две до этого мне приходилось заходить в этот ледник. Внутри его была страшная сырость, грязь, и стены и потолок покрылись толстым слоем плесени. Почти половину пола занимала обнесенная досчатой перегородкой яма, из которой пахло гнилью. Я пробыл тогда в нем несколько минут, и, когда вышел на свежий воздух, у меня закружилась голова. Вот этот-то заброшенный ледник и заставили обносить колючей проволокой. Было ясно, что в эту страшную яму хотят кого-то посадить, но кого?

Мы еще не закончили работы, как нам приказали итти в свой барак. Мы видели, что по дороге из лагеря кого-то вели под конвоем.

Быстро спускались сумерки. Мы зашли в барак, и, пока дежурный раздувал огонь под плитою и под котлом, открылась дверь, и вошел Р., заметно взволнованный.

— Ну, что, привели? Кого? Сколько человек?—сыпались нетерпеливые вопросы.

— Кто—не знаю, не мог узнать в темноте. Их двое,—ответил Р.

Настроение было подавленное. Все молчали и растерянно посматривали друг на друга.

Вновь открылась дверь. Вошел прапорщик М.

— Нет ли какой-нибудь банки, отнести им воды,—сказал он.

Кто-то предложил подождать, когда закипит котел, и отнести им чай, но М. ответил, что сержант не разрешает не только чая, но даже кипяченой воды.

— Какой ужас,—продолжал Р.,—на дворе мороз 20 градусов, а они сажают людей в старый заброшенный ледник. Ведь это верная смерть! О таком застенке могли только мечтать самые подлые палачи самодержавия.

На следующий день с утра мы работали на проволочном заграждении у ледника. На часах стоял молодой парижанин. Как только раздался звук наших молотков, мы услышали слабый крик из ледника.

— Товарищи...

Мы невольно перестали работать и прислушались. Голос звучал из-под земли сдавленно и глухо.

— Товарищи, попросите у французов горячей воды, ради всего святого.

Мольба и отчаяние звучали в этом крике. Они не просили о пище, это было бесполезно, они просили лишь несколько глотков горячей воды. Мы передали их просьбу часовому. Он ответил, что сержант запретил давать им что-либо, кроме холодной воды. Так мы узнали, что лейтенант приказал часовому, в случае, если мы вступим в разговор с заключенными, стрелять в нас без придупреждения.

Крик из подземелья повторился, но чем мы могли помочь несчастным?..

— Товарищи! — третий раз услышали мы.

Молотки дрожали в наших руках и стучали неуверенно. Я взглянул на часового. По его щекам катились крупные слезы. Он смахнул их платком, вскинул на плечо винтовку и решительно направился к солдатскому бараку, оставив нас одних. Мы догадались, что он решил просить сержанта. Вскоре часовой вернулся, и по его смущенному выражению лица без слов было понятно, что начальство неумолимо.

Крик из подземелья больше не повторился...

Прошли еще сутки. Утром, когда мы вышли на работу, часовой сказал нам, что в 9 часов заключенных в подземелье увезут в Архангельск на расстрел. Я и З. были назначены на распиловку дров и работали в нескольких шагах от дороги на южную оконечность острова. Вскоре из лагеря пришел конвой. К подземелью подошли лейтенант и сержант. Открылась дверь, и из ледника вышли, держась за стены, узники, но свежий воздух так подействовал на них, что они тут же упали на снег и не могли подняться. Лейтенант что-то грубо и громко закричал и вдруг поднял свою палку и ударил несколько раз несчастных. Сержант последовал примеру своего „культурного" начальника. Картина была непередаваемая. Тщетно пытались избиваемые встать. Ноги их не держали, и они вновь падали. Лейтенант и сержант продолжали их избивать. Наконец они собрались с силами, встали и неуверенными, слабыми шагами пошли, шатаясь и опираясь друг на друга. Это были не люди, а живые трупы, исхудалые, как скелеты, со впавшими, желтыми, как бы обтянутыми пергаментом, лицами. Когда они проходили мимо нас, один из них слабым, чуть слышным голосом сказал:

— Прощайте, товарищи.

Пила дрогнула в наших руках, жалобно взвизгнула и замолкла, застряв в древесине. Я взглянул на З. По его щекам катились слезы.

Мы долго смотрели им вслед, пока они не скрылись в ближайшем лесу.

Эти заключенные были — Иванов, председатель Шенкурского уездного исполнительного комитета советов, и Лохов — слесарь Путиловского завода. Часовой ошибся: они не были расстреляны, а умерли впоследствии от тифа в Архангельской губернской тюрьме.

После нашего ухода из лагеря все там в корне изменилось. Виноградова, бывшего посредником для сношения с администрацией, назначили „начальником барака", и для пленных была введена военная дисциплина. Весь барак был разбит на четыре взвода, назначены „взводные командиры" из среды заключенных „рядовых", „взводные офицеры" и „ротный командир", который являлся помощником начальника барака. Начальнику барака было дано право сажать в карцер заключенных на двое суток. Офицеры имели право своей властью ставить заключенных „под колокол", причем каждый офицер — до двух часов, взводный и дежурный офицер — до четырех часов и начальник барака — без

ограничения. Таким образом создалось положение, в котором один заключенный мог наказывать другого, и этим правом некоторые мерзавцы из „господ офицеров“ стали пользоваться. Колокол был установлен в бараке Виноградова. Он, как я говорил выше, был моряк и распорядился отбивать в колокол „склянки“.

Как-то Виноградов был увезен в Архангельск для допроса, и вместо него был назначен начальником барака некто Бриллиантов—подпоручик артиллерии.

Чтобы показать себя в глазах французского лейтенанта более, чем Виноградов, отвечающим должности „начальника барака“, Бриллиантов энергично взялся за проведение военной дисциплины. При нем началась самая дикая игра „в солдатики“, и барак превратился в дом сумасшедших. Были введены ежедневные рапорты взводных командиров и дежурных офицеров начальнику барака, ежедневные приказы начальника барака, которыми назначались дежурные офицеры на следующий день, назначались и увольнялись взводные командиры, объявлялись выговоры провинившимся офицерам, наказания „рядовым“ и прочее. Жизнь заключенных превратилась в кошмар. Бриллиантов дошел до того, что начал избивать заключенных. На распиловке дров работала молодежь от 15 до 18 лет, которых Бриллиантов прозвал „маменькими сынками“ и „бабушкиной гвардией“. Этих-то „маменькиных сынков“ Бриллиантов беспощадно бил по щекам.

Бриллиантов же ввел особое наказание — „сажать заключенных на две галеты“. Это наказание состояло в том, что у провинившегося отбирали из четырех галет две и таким образом обрекали на полную голодовку. Это наказание стало излюбленным для начальства по той простой причине, что львиная часть отобранных галет находила себе место в желудке начальника барака. Из остатка этих же отобранных галет составлялась „экономия“, которая распределялась время от времени начальником барака „наградою“ между господами офицерами и взводными командирами, причем опять же львиная часть попадала начальнику барака.

Этот грабеж голодных заключенных ускорял полное истощение и без того уже истощенных людей.

Но из Архангельска вернулся Виноградов и был вновь назначен „начальником барака“. Конкуренция на должность „начальника барака“ начала проводиться с еще бо́льшим рвением, и Виноградов оставил в силе все порядки, установленные Бриллиантовым. Он, не уступая в жестокости Бриллиантову, стал также избивать заключенных, пуская в ход уже палку, с которой никогда не расставался.

Так создавали кошмарные условия заключения „выдвиженцы“ из заключенных.

Но и французы им не уступали.

В лагерь прибыл новый переводчик—сержант Лерне. Он был также и агентом контрразведки.

По ночам, когда в бараке все спали, пьяный Лерне с револьвером, с бандой таких же пьяных матросов, вооруженных вин-

товками, врывался в барак, и вся эта пьяная свора набрасывалась на спящих заключенных, и начинался повальный обыск. Спящих стаскивали с нар, многих избивали. В результате каждого такого набега до десятка, а то и больше заключенных неизбежно бросалось в карцер на пятнадцать суток. Главной причиной ареста чаще всего являлось обнаружение при обыске гвоздей, которые были у каждого заключенного. Эти гвозди служили для вскрытия коробок с консервами, и поэтому понятно, что, несмотря ни на какие репрессии, заключенные все-таки их имели. Эти ночные набеги пьяных французов остались одним из самых кошмарных воспоминаний о житье на Мудьюге.

Лерне был беспощаден. Вот яркий случай, отнюдь не являвшийся исключением. Один из больных, лежавших в бараке, Климов находился при смерти. Уже началась агония. Во время поверки, которая производилась на дворе, умирающий, конечно, не мог выйти. Тогда Лерне ворвался в барак, палкою поднял несчастного с нар и вытащил его на двор. Возвратясь с поверки, Климов лег на свое место и через пять минут умер.

Другой заключенный, возвратясь с работ, через два часа умер. Умершие ночью из барака не выносились и до утра лежали на нарах рядом с живыми.

Когда день стал коротким, мы работали без перерыва от девяти утра до трех часов дня. Начались морозы, а зайти в барак и обогреться не позволяли. Теплой одежды почти никто не имел, некоторые были одеты по-летнему, обувь у всех порвалась, жестокий холод еще больше увеличил наши страдания...

В долгие зимние вечера, когда рано темнело, а с наступлением сумерок кончались наши работы, мы коротали время, за неимением книг, газет и бумаги, бесконечными разговорами и воспоминаниями. По этим разговорам мы знакомились не только с историей ареста каждого из нас, но со всей прошлой жизнью, и рассказы наши повторялись много раз. Среди нас был матрос ледокола „Святогор"—Бабурин (которого мы звали Бабурой). Простой, честный малый, мало тронутый жизнью, всего 22 лет. Мы любили его рассказы о том, как он был арестован, любили потому, что Бабура обладал очень образным языком.

Бабуру мы звали еще „Присяжным крикуном". Вот откуда произошла эта кличка. На меня была возложена товарищами обязанность делить галеты. Так как галеты получались не все целые, а кусками, я раскладывал их на кучки, и, чтобы не было никому обидно, один из нас отвертывался, а я, указывая на ту или иную кучку, спрашивал—кому? Отвернувшийся отвечал. Присяжным крикуном и был Бабура.

— Бабура, „крикни",—говорил обыкновенно я, когда кончал раскладку галет по кучкам.

— Есть, показывай,—неизменно отвечал он из своего угла.

— Кому?—спрашивал я.

— Возьми себе,—отвечал Бабура.

— Кому?

— Дай мне.

— Кому?

— Господину М.,—отвечал он, не называя никогда нашего офицера товарищем.

И так до конца, пока не выкрикивал фамилий всех.

Я как-то сказал Бабуре:

— Если мы выйдем на свободу и встретимся где-нибудь на улице, то я по старой привычке крикну тебе: „Бабура, крикни".

— Ну, так что же. „Есть! Показывай",—отвечу я тебе,—говорил Бабура.

Но встретиться нам на свободе не пришлось. Бабурина впоследствии расстреляли. Его единственная вина была в том, что он честно зарабатывал себе кусок хлеба, служа кочегаром на ледоколе. Честный и самый тяжелый труд для предателей и изменников был вполне достаточным поводом для того, чтобы лишить человека самого драгоценного и невозвратного — жизни.

В декабре наша жизнь неожиданно была выбита из своей нудной, однообразной колеи. Около двадцатого числа, когда нас на батарее было десять человек, четверых назначили к отправке в Архангельск, в число которых попали прапорщик М. и Бабурин.

Трудно передать, как рад был отправке Бабурин. Он вел себя в последние часы, как ребенок.

— Говорил ведь я, что меня взяли „за конверт и в кружку до востребования". Так и вышло. Дождался все-таки „востребования",—острил он.

Он ни одной минуты не сомневался, что идет на свободу, и поэтому его радость была вполне понятной. Не мог же он думать, что его вызывают на расстрел, так как не ведал за собой никакой вины.

Грустно было после их отъезда.

Вечером 23 декабря, когда мы ложились спать, пришел сержант и заявил, что на батарее пленных больше держать не будут, и завтра нас отправят в лагерь.

Рано утром к нам вошли сержант и часовой.

Мы взвалили на плечи свой багаж, вышли на дорогу и, увязая в снегу, пошли вдаль, где на белом покрове снега и светлеющем фоне неба выделялась полоса темного леса. Впереди мигал огонек маяка.

Было уже светло, когда впереди из-за небольшого леса выглянула красная крыша. Это был дом, где помещались французский гарнизон и администрация.

Мы подходили к лагерю. Навстречу нам попалась партия пленных, отправлявшихся на работу. Вид у них был самый жалкий: оборванные, исхудалые, с потухшими и безразличными взглядами, они шли нестройной толпою. Шествие замыкали два конвоира-француза.

Через пять минут мы входили уже в ворота лагеря. Всюду, как тени, двигались изнуренные, слабые люди, с лицами, опухшими от голода и обросшими волосами, которые давно уже не видели ножниц. Вид этих несчастных был ужасен даже для нас,

но, если бы их увидел свежий человек с воли, он не поверил бы, до какого состояния можно довести людей. Мрачной гробницей выглядел барак, и стекла его окон были покрыты толстым слоем льда и опушены белыми снежинками. За двойной стеною колючей проволоки, вне лагеря, на светлом фоне, в ярких лучах восходящего солнца, резко выделялась группа крестов, как стая замерзших на лету птиц с распростертыми крыльями. Их было тринадцать. Это было кладбище жертв интервенции.

Нас загнали в барак и представили дежурному офицеру. Пока офицер записывал моих товарищей, разбивая по взводам, я, в ожидании своей очереди, рассматривал барак. Он был почти пуст, за исключением нескольких больных, не выгнанных на работу. Грязный и полутемный барак давил своим унылым видом и выглядел склепом, в котором копошилась такая же унылая жизнь.

— N, а вы что здесь стоите? Вы же в Архангельск назначены,—прервал мои размышления подошедший пленный, который прибыл на Мудьюг в одной партии со мной.

— Как в Архангельск? Не может этого быть,—невольно сорвался у меня возглас недоверия и в то же время вспыхнувшей надежды.

— Партия уже отправляется. Идите скорее в большой барак, там идет обыск.

Сомневаться больше не приходилось, и я, взволнованный неожиданной вестью, торопливо пожимаю руки своих товарищей, взваливаю на плечи свой багаж и бегу, сопровождаемый добрыми напутствиями своих друзей по заключению, с которыми так же неожиданно пришлось расстаться, как и встретиться.

— Счастливец,—услышал я вслед чей-то возглас, сопровождаемый тяжелым вздохом.

Но обыск в бараке уже кончился, и меня погнали в дом французов. После обыска меня отвели в карцер, где сидели уже все заключенные, назначенные к отправке в Архангельск. Их было тридцать. Как выяснилось, был установлен такой порядок, по которому всех, назначаемых к отправке, держали в карцере, пока не придет пароход.

В карцере было темно, тесно и холодно. Мои новые товарищи по предстоящему этапу дрожали от холода и кутались в одеяла. Одни сидели на своих вещах, другие стояли и топтались на месте, стараясь хотя немного согреть ноги. Один все время, не переставая, стонал, жаловался на холод. Он был болен, но „цивилизованные“ палачи не обратили на это никакого внимания.

В три часа дня нас выпустили из карцера и разрешили пойти в барак. Оказалось, что ледокол на пути из Архангельска застрял во льдах, и на его скорый приход рассчитывать не приходилось. Это был первый случай, что отправляемым разрешили быть вместе с остающимися. Мы имели возможность провести ночь в обычных условиях, а не в холодном и темном карцере.

Наступило Рождество. После поверки все пошли на работу, а нас, отправляемых в Архангельск, опять заперли в карцер. Но парохода не было, и к вечеру мы были снова впущены в барак.

На следующий день нас отправили на работы—носить землю для новостроящегося карцера. Мерзлую землю нагревали огнем, разводя огромные костры. Здесь у костра мне пришлось наблюдать сценку, которая показывала еще раз, до какого состояния доводил заключенных голод.

К костру подошел один заключенный, дрожа от холода. Рукою, грязною настолько, что она была совершенно черна, он вытащил из-за пазухи до невозможности грязную тряпку. Дрожащими руками он стал торопливо развертывать ее.

Мы все смотрели с недоумением, что может быть завернуто в эту тряпку. Но в ней оказалась еще другая тряпка—не менее грязная. И уже в третьей тряпке был завернут кусок такого грязного сала, что трудно было понять, сало это или комок мерзлой земли. Таким же путем из-за пазухи появилась маленькая сковородка из заржавевшей жести. Он положил на нее сало и поджарил на углях. Во время всей этой операции он торопился, испуганно поглядывал по сторонам, не видит ли часовой. В то же время в глазах его светились нетерпение и тревога. Когда он с жадностью ел сало, то, несмотря на все отвращение, которое невольно вызывал этот грязный комок, я стоял, как загипнотизированный, смотрел с завистью, облизываясь и глотая слюнки. В глазах моих товарищей тоже горели животная жадность и зависть.

Карцеры, которые мы засыпали землей, стали самым ужасным пугалом для заключенных. Это были не места для заключения, а страшные застенки, созданные извергами для самого утонченного мучительства. Они были выстроены из досок и засыпаны землею. Постройка их производилась осенью и зимою, во время дождей и морозов, и мокрая земля промерзла. Карцеры были совершенно темные и первое время не имели печей.

На третий день моего пребывания в лагере из карцера вышли пять или шесть человек, которые просидели в нем восемнадцать суток.

Морозы в это время были больше 20°. Все вышли с обмороженными ногами. У одного из этих несчастных, Гуляева, бывшего товарищем председателя Архангельского совета рабочих и солдатских депутатов, ноги были настолько поморожены, что он с трудом передвигался, а когда его положили в лазарет, ноги уже загнили, и он вскоре умер.

— Когда нас посадили в карцер,—рассказал нам один из заключенных,—печи там не было. Пищи выдавали только по две галеты и воду. Согреться не было никакой возможности, и мы старались сохранить только ноги, завертывая их во все, что имелось. По ночам не было никакой возможности спать, и, дрожа от холода, мы ложились, плотно прижавшись друг к другу, чтобы хотя немного согреться теплотою своих тел. Но ничто не могло помочь, и мы поморозили себе ноги. Один больной начал замер-

зать и лежал уже без сознания. Товарищи принимали все меры, чтобы его согреть, но что могли они сделать? Когда заметили, что человек уже умирает, то на вечерней поверке заявили об этом сержанту; но тот не обратил на заявление никакого внимания. Ночью несчастный умер, и его труп лежал до утра на нарах рядом с теми, кто ожидал и для себя такой же участи.

Дней через восемь-десять в карцере поставили железную печку, но, как только ее затопили, весь карцер наполнился дымом. Когда воздух стал немного согреваться, промерзшая земля начала оттаивать, со стен и с потолка потекло, и к дыму прибавился еще пар. Чтобы не задохнуться от дыму и пара, заключенные должны были лечь на мокрую землю и укрыться одеялом. В таком положении они пробыли два дня, пока земля немного просохла.

Дров выдавали недостаточно, и мороз вновь стал терзать заключенных. Тогда, чтобы немного согреться, они выломали доску из нар и затопили печь. За это им прибавили еще по три дня карцера.

Заключенных, умерших в этом карцере, насчитывалось пятнадцать человек, и только один Левачев,—бывший председатель союза рабочих лесопильных заводов, вынес продолжительное заключение в карцере, просидев в нем шестьдесят суток. Впоследствии, в августе 1919 года, он все-таки пал жертвой белогвардейского террора, был расстрелян по приговору военного суда через год с лишним предварительного заключения.

Не менее страшный застенок, чем карцер, представлял собой лазарет, построенный из тонких досок в два ряда, между которыми был насыпан песок. Строился он также во время осенних дождей. Сырой песок, засыпанный между досок, высыхая, высыпался, и сквозь щели был виден свет. Вполне понятно, что тепло никак не могло держаться в этом решете, как бы много ни топили печей. Во время сильных морозов температура в этом „лазарете“ доходила до 10° ниже нуля по Реомюру. Больные лежали одетыми, закрывшись одеялами, и несмотря на это были случаи обмораживания ног. Вполне понятно, что заболевший и попавший в лазарет во время морозов был неизбежно обречен на смерть. Этот „лазарет“ был могилой не только для больных, но и для здоровых. Так была поставлена на Мудьюге медицинская помощь.

29 декабря к острову подошел ледокол, на котором прибыла новая партия заключенных.

На следующий день рано утром, еще до поверки, нас, назначенных к отправке, вызвали. Простившись со своими товарищами, мы оставили барак и с облегчением вздохнули, когда перед нами раскрылись ворота лагеря. Что бы ни ждало нас в будущем, куда бы ни бросил нас произвол палачей, единственным нашим желанием было не возвращаться на этот остров страданий и смерти.

Ледокол стоял приблизительно в версте от берега, среди ледяного поля. Нас посадили в трюм. Через три часа мы были

на „Экономии“ в 25 верстах от Архангельска. Ледокол дальше не шел, и нас повезли по железной дороге. Уже стемнело, когда поезд остановился на Смольном буяне. Нагрузившись, кроме своего багажа, казенными вещами, изнемогая под тяжестью нош, мы двинулись в город под конвоем.

При входе в город нас встретил еще отряд военной милиции. Под усиленным конвоем мы продолжали путь.

До тюрьмы мы должны были еще пройти „чистилище“—контрразведку.

В контрразведке нас выстроили в коридоре, и мы долго стояли в ожидании. По коридору несколько раз торопливо проходил лейтенант Бо, бросая „милые“ взгляды в нашу сторону. Наконец дверь ближайшей комнаты раскрылась, и на пороге ее появился капитан Чайников в форме лейтенанта английской армии. Он развернул лист бумаги и начал проверять нас, вызывая по фамилии и каждого из нас пристально оглядывая.

Окончив поверку, Чайников назвал фамилии трех находившихся среди нас железнодорожников, заявил им, что они освобождаются, и предложил им отойти в сторону от нас. Эти железнодорожники были арестованы без всякого повода, но, несмотря на это, Чайников счел нужным прочесть им „отеческое“ внушение.

— Я вас освобождаю,—начал он с особым ударением на „я“,—но помните, что вы не должны принимать участия ни в каких организациях. Если ты был стрелочником, то и знай только свое дело, а об управлении Россией и не думай. Это не вашего ума дело, и для него найдутся более умные люди, которые знают, как управлять и что делать с Россией. Это уж вы предоставьте нам!—с пафосом закончил Чайников с неопределенным жестом нето на себя, нето на дверь комнаты, из которой он вышел.

Между тем претендент на управление Россией назвал фамилии еще человек восьми-десяти.

— А вас я беру в армию, в испытательный батальон. Вы, конечно, довольны?—уверенно спросил он.

Все молчали. Лицо Чайникова передернулось, в глазах вспыхнули злые огоньки, но он сдержался.

— Но помните, что никаких комитетов, комиссаров и прочей вашей советской пакости там не будет. У нас установлена та старая крепкая дисциплина, которая была в русской армии раньше. Эта дисциплина строга, но справедлива. Если вам офицер приказывает броситься в воду—бросайся, если приказывает итти в огонь—иди. Начальник лучше вас знает, что делает, а ваше дело только исполнять, не рассуждая и не раздумывая. Будьте хорошими солдатами, и вам будет хорошо, а нет, так помните, что мы гуманничать с вами не будем. Пока вы пойдете в тюрьму, и через день-два вас возьмут в батальон. Довольны?—еще раз спросил он.

„Осчастливленные“ таким доверием молчали. Злоба снова мелькнула на лице „начальника“, и, назвав фамилии остальных, в том числе и мою, он заявил, что мы вызваны в распоряжение следственной комиссии. Всякие наставления по нашему адресу

были, повидимому, излишни, и мы, за исключением трех освобожденных товарищей, стали продолжать свой путь. Усталость за весь день, проведенный в дороге без пищи, сказывалась, и мы были рады, когда в темноте вырос перед нами мрачный силуэт тюрьмы, подслеповато поглядывая слабоосвещенными окнами, перекрещенными тенями решеток.

— А, мудьюжане! Все старые знакомые!—встретил нас старший надзиратель и отвел в подвал—малую пересыльную камеру. Она была с одним окном, без нар, и мы с трудом разместились в ней, лежа буквально друг на друге.

На следующее утро троих из нашей камеры перевели вверх, а нас повели в баню. Можно себе представить, с каким удовольствием мы сдирали с себя ту толстую чешую грязи, которая наросла у нас за пять месяцев. Мы думали, что после бани нас переведут в камеру следственных заключенных, но, увы, нас опять заперли в подвал, совершенно обособленный от остальных камер, за исключением одной такой же временной камеры, только несколько большей, чем наша. Она была рядом с нашей, и эти две камеры имели особый вход с тюремного двора.

На второй день пребывания в тюрьме я проснулся от мучительной боли. Нога ныла, я хотел ее распрямить, но она не разгибалась. Цынга, зачатки которой без сомнения были у меня еще на Мудьюге, здесь, после двух дней, проведенных лежа на полу, без всяких движений из-за тесноты и невозможности ходить, начала забирать, и нога быстро „деревянела".

Кроме меня, было еще несколько тяжело больных, которые не вставали. Мы просились в околоток, но на нашей камере и на соседней лежала печать проклятия, и на заявления наши не обращалось никакого внимания. В особенности тяжело было смотреть на одного семидесятипятилетнего старика, который был настолько болен, что не мог даже сесть. За что страдал этот несчастный—было вовсе непонятно. По его словам, он был арестован только за то, что его два сына служили в Красной армии. До чего доходило издевательство „белых" над арестованными, видно из того, что этот старик при аресте был тяжело избит. Но этот пример ареста семидесятипятилетнего старика был не единичен. За время своих скитаний по белогвардейским застенкам мне приходилось встречать как подобных старцев, так и четырнадцати-шестнадцатилетних юношей.

Бывали случаи, когда арестовывались целые крестьянские семьи, а их дома и хозяйства в деревнях бросались на произвол судьбы. Приведу довольно любопытный случай.

На Мудьюге был один пастух, который на пути из одной деревни в другую был задержан. На вопрос: большевик ли он, задержанный ответил: „большак". За это его отправили на Мудьюг.

Мудрые законники не знали значения слова „большак" и не нашли нужным в этом разобраться. Пастуха освободили. „Большаком", как известно, в крестьянской среде называют (по смерти отца) старшего в семье сына...

В тот же день нас перевели в соседнюю камеру, где уже было более тридцати человек. С нами же число заключенных дошло до шестидесяти, и теснота стала невероятной.

Еще на Мудьюге, в лагере мы узнали, что прапорщик Ларионов и пять человек из его отряда расстреляны в Архангельске по приговору особого военного суда. Это был первый открытый расстрел, положивший начало беспощадной расправе, которая унесла впоследствии тысячи молодых жизней. В то же время этот первый случай расстрела произвел сильное впечатление в рабочих кругах.

Вот что услышал я от своих товарищей в тюрьме о подробностях этого расстрела.

3 ноября заключенных во всех камерах предупредили, что, как только будет в коридоре свисток, все заключенные должны выстроиться в камерах, не подходить к окнам и не расходиться до второго свистка.

В два часа дня в тюрьму явился соединенный отряд англичан, французов, итальянцев и американцев до сорока человек. Благодаря воскресному дню на улицах было много публики, которая, видя, что в тюрьме творится что-то неладное, собралась на прилегающих к тюрьме улицах. Около трех часов в коридорах тюрьмы раздался свисток. Настроение было тревожное и нервное.

Приговоренных вывели из камер на тюремный двор и выстроили у стены. Офицер предложил им повязки на глаза, но Ларионов отказался и сказал офицеру: „Если тебе стыдно, то закрой ею свои глаза".

Перед самым расстрелом итальянцы отказались принять участие в убийстве и воткнули в землю штыки у тюремной конторы. Вскоре раздались один за другим два залпа. Все жертвы упали, и только один Ларионов, тяжело раненый, был еще жив. Тогда один из офицеров выхватил револьвер и выстрелил в лоб смелого юноши. Так произошло это гнусное убийство в центре города, среди белого дня, когда окружающие улицы были наполнены праздничной толпой.

КАТОРЖАНЕ

Зал и коридоры военноокружного суда переполнены публикой. Суд удалился на совещание. Время заполночь. Мы, подсудимые, утомленные трехдневным судом, с нетерпением ожидаем конца этой комедии.

В тюрьму и спать—единственное желание в эти минуты. На оправдание никто из нас не рассчитывает. Скучно и нудно. Утомленные солдаты дремлют, опираясь на штыки винтовок. То один, то другой из них начинает „клевать" и, получив незаметно толчок в бок от товарища, испуганно вздрагивает, открывает глаза и, смущенно оглядываясь, напряженно вытягивается в струнку.

В углу у печки кто-то громко храпит. Проходит около двух часов. Начинает светать. В полусонной тишине зала громко и нервно трещит звонок. Все ожило, зашевелилось. Из коридора

торопливо входят в зал. Дежурный офицер приставляет к нам еще двух солдат.

— Прошу встать! Суд идет!

Все встают, напряженно вглядываясь в дверь. Пять офицеров-судей входят один за другим и занимают свои места на креслах.

Председатель развертывает большой лист бумаги, покашливает.

Зал замер.

— 1919 года, июля... дня,—звучит монотонный, бесстрастный голос.

Слышно, как, жужжа, бьются о стекла окон мухи.

— ...Военноокружной суд... в законном составе... слушал дело...

Скучное перечисление подсудимых, их званий, возраста, не раз слышанных во время суда.

— ... преданных суду по обвинению в преступлениях, предусмотренных второй частью 102 статьи Уголовного Уложения и кроме того 13 и 1641 статьями Уложения о наказаниях и статьей...

— Господин дежурный офицер, приведите приговор суда в исполнение.

Судьи и прокурор спешно удаляются в задние двери. В боковые двери входят солдаты. Приклады громко стучат о пол, штыки блестят. Они цепью протягиваются между нами и публикой. Взволнованный говор толпы заглушает распоряжения дежурного офицера. Нас ведут коридором мимо выстроенных шпалерами солдат в какую-то маленькую отдаленную комнату. Здесь сидим около получаса. Выводят на двор. Публика еще не разошлась. Совершенно светло. Загорелась утренняя заря. Мрачно глядят старинные низкие каменные подвалы, примыкающие к зданию суда. Они превращены во временную тюрьму. В этих склепах, давно заброшенных и непригодных даже для кладовых, томится до двухсот заключенных. Но наш путь, как осужденных уже, лежит в губернскую тюрьму.

Приговор—каторжные работы, суд кажется смешной, глупой и совершенно излишней комедией. Кому она нужна? Для чего она совершалась? Совершенно непонятно. Для чего осуждать на десять-пятнадцать лет каторжных работ? К чему эти сроки, когда и без них произвол „правительства“ мог держать нас в сырых тюремных казематах без всякого срока и без потери времени на суды, эти гнусные пародии на законность и справедливость. Тем более всякие сроки нелепы в этот период борьбы, когда никто не уверен в завтрашнем дне, когда сегодняшние судьи и властители назавтра могут сменить нас за толстыми каменными стенами и тюремными решетками.

Нас окружает конвой в сорок человек.

— На пле-е-е-чо!

„Ать, ать“,—звякают винтовки.

— Шагом марш!

Публика, волнуясь, двигается за нами, и среди гула десятков голосов до нас доносятся добрые пожелания и выражения наде-

жды на скорую встречу. И мы, и провожающие нас уверены, что суд, приговор,—каторжные работы—все это бессмысленно, нелепо и непродолжительно, как политика горсти авантюристов, поддерживаемых штыками буржуазных правительств Запада.

*

20 июля нас перевели из одиночки в общую камеру, освобожденную специально для каторжан. Кроме шести человек, осужденных вместе со мною, в эту камеру перевели из одиночек еще трех человек, приговоренных к каторжным работам по одной с нами статье за принадлежность к „преступному сообществу“, именующему себя Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика.

Первый день в нашей камере находились только указанные десять человек, а на следующий день к нам привели еще шесть новых осужденных на каторгу,—матросов.

Все мы не были еще переодеты в арестантскую одежду.

В это время на острове Мудьюге в помещениях упраздненного лагеря военнопленных была открыта каторжная тюрьма. Первая партия каторжан была отправлена 3 июля в количестве двадцати четырех человек. Их отправили закованными в кандалы. При отправке кузнецы из заключенных отказались заковывать, за что были посажены в карцер. После их отказа, помощник начальника тюрьмы Шестерка и старший надзиратель Мамаев, или Мамай—как его попросту звали в тюрьме, собственноручно заковали отправляемых. Этот первый случай заковки в кандалы произвел сильное впечатление как на заключенных, так и на тех обывателей, которые видели кандальников в то время, когда их среди белого дня вели на пристань для отправки на Мудьюг.

Нас также должны были отправить в каторжную тюрьму, как только соберется следующая партия каторжан. В тюрьме, кроме нашей, была еще одна камера, занятая каторжанами. В ней находилось около тридцати человек.

Окна нашей камеры выходили на двор, куда ежедневно выпускали на прогулку арестованных, и мы видели всех заключенных тюрьмы, а иногда даже перебрасывались парой слов, узнавая таким образом новости, которые проникали в тюрьму.

На третий день заключения, 21 июля, в нашу камеру пришел старший надзиратель со списком каторжан, в который входило около пятнадцати человек, осужденных по 102 статье Уголовного Уложения. Из нашей камеры в этот список входили все осужденные по одному делу со мною. Надзиратель спросил, кто есть у нас из близких родственников, и их точные адреса. На наши вопросы, для чего это понадобилось, надзиратель ничего не ответил. Мы строили по этому поводу массу предположений, но ни одно из них не выдерживало ни малейшей критики. На следующий день, вечером, эта загадка разрешилась сама собой.

После поверки, когда мы легли спать, дверь нашей камеры раскрылась, и помощник начальника тюрьмы вызвал в контору К., а также и В., осужденного по одному делу со мной. Они

встали, оделись и ушли, а мы втроем ждали их возвращения, не понимая, чем можно объяснить этот вызов. Вскоре они вернулись, и вот что мы от них услышали.

В конторе тюрьмы их ожидал „министр внутренних дел“ белогвардейского правительства Игнатьев. Он сказал им, что в Онеге восстание, и он отправляется туда с карательным отрядом. Правительство распорядилось взять ему с собою двух каторжан. Выбор остановился на них, так как только у двух лиц, из всех помещенных в списке, семьи находятся в Архангельске и могут быть взяты заложниками на время поездки. Эти два лица должны были в Онеге выехать с парохода на берег парламентерами и предложить восставшим назначить время и место для встречи с Игнатьевым. На время поездки их семьи в Архангельске будут считаться заложниками, и если бы К. и В., выехав на берег, не возвратились на пароход, то...

— Вы знаете, что если у меня нехватит решительности применить репрессии к вашим родственникам, то правительство не остановится перед расстрелом,—закончил „министр“, выдававший себя за социалиста.

К. и В. пробовали отказаться от этой рискованной поездки, но Игнатьев им сказал, что все равно они будут увезены насильно.

На вопрос—будут ли арестованы их семьи—Игнатьев ответил, что они будут находиться под надзором милиции. Так как К. и В. лично в Онеге не знали, то они попросили меня написать письмо, удостоверяющее их личность. Я написал, что они действительно такие-то, содержащиеся вместе со мной в тюрьме и осужденные на каторжные работы, что их семьи объявлены заложниками и, по заявлению Игнатьева, будут расстреляны в случае, если К. и В. останутся в Онеге.

Около полуночи К. и В. взяли из камеры. Не прошло и получаса после их ухода, как в тюрьму привели жену В. и брата К. и заключили в одиночные камеры. Так сдержал свое слово член белогвардейского правительства.

Восстание в Онеге было первой ласточкой освобождения Архангельской губернии или „Северной области“, как именовалась она в это время, от власти русских монархистов и союзников. Надежда на освобождение вспыхнула со всей силой, взволновала и казалась уже близкой и возможной. Увоз К. и В. был показателем, насколько растерялось и чувствовало себя бессильным правительство авантюристов, которое в своей гнусной жестокости к своим противникам не оставляло в покое и семьи заключенных, угрожая им репрессиями и даже расстрелом.

После ухода К. и В. из камеры, мы долго не могли уснуть, строили предположения, делились впечатлениями. Даже дежурный надзиратель, против обыкновения, ни разу не заглянул в волчок двери и не кричал обычного: „прекратить разговоры!“

Слышно было, как он взволнованно, вполголоса, разговаривал в коридоре с часовыми „крестиком“, но весть о восстании произвела на них совершенно обратное впечатление, чем на нас, и в их голосах слышалась тревога.

*

В эту ночь не было даже военнополевого суда, который ежедневно, за малыми исключениями, заседал в тюремной конторе.

На следующий день, во время вечерней поверки, помощник начальника тюрьмы ходил по всем камерам и предупреждал:

— Если в ближайшие ночи в городе будет пробная тревога, то вы не беспокойтесь. Она вас касаться не будет.

Он был вежлив, как никогда, смущен и старался не смотреть нам в глаза. Сопровождавшие его надзиратели были заметно встревожены. Было ясно, что это предупреждение делается не для пробной тревоги, а на случай восстания, чтобы тюрьма не волновалась и принимала всякие беспорядки в городе за ложную тревогу. Наши предположения оправдались. Никакой пробной тревоги в городе не было. Но предупреждение имело уже для нас то значение, что положение становится для белогвардейцев угрожающим, иначе не стали бы они предупреждать заключенных. Это еще больше окрыляло наши надежды на освобождение, и мы ждали дальнейшего развертывания событий.

В один из последующих дней нас снова предупредили о пробной тревоге и на этот раз уже не в городе, а в тюрьме. Эта тревога заключалась в том, что на тюремном дворе расставили пулеметы и усиленную охрану. Мы не могли видеть того настроения, которое было в городе, но эти приготовления радовали нас и были отражением того, что творится на воле. За крепкие стены тюрьмы не проникали достоверные сведения о том, что происходило в городе и на фронтах, нам приходилось довольствоваться лишь тем, что мы могли узнать из „Тюремного вестника". Но благодаря тому, что ежедневно в тюрьму приводили десятки новых заключенных, арестованных как в городе, так и в воинских частях на фронте, мы все-таки узнавали, что происходит на воле.

О событиях в Онеге слухи до нас не доходили, и мы с нетерпением ожидали возвращения „парламентеров" в надежде узнать от них не только онежские новости, но и вести из Советской России.

Через два-три дня после отъезда „парламентеров" всех каторжан из нашей камеры повели в баню, чтобы переодеть в арестантское платье. Цейхгаузом в то время заведывал старший надзиратель Мамаев. Этот Мамай—личность, не лишенная интереса. В старое время, при царизме, он был палачом где-то на юге. Низкорослый, толстенький, коротконогий, суетливый, с большой черной бородой и с хитрыми, все время беспокойно рыскающими глазами. Он был ярким типом тюремщика. Тюремная жизнь и ее порядок настолько въелись в плоть и кровь этого человека, что его миросозерцание не выходило из пределов тюремных стен, в которых он чувствовал себя, как рыба в воде.

В своем обращении с заключенными он был дипломатом и следовал пословице „по одежде встречают..." Любил, когда его называли „господин старший", и иногда охотно и многословно отвечал, напуская на себя важность всемогущего начальника.

Этим „коньком“ Мамаева заключенные часто пользовались и не безуспешно. В разговоре с заключенными он большей частью обращался на „ты“. Но любопытнее всего то, что, когда мы были приговорены к каторге, Мамай в своем обращении не только не стал грубее, как надо было ожидать, но даже вежливее и обращался к нам не иначе, как на „вы“.

— Ну, вот, теперь вы людьми стали,—сказал он нам в один из первых дней после суда,—не люблю я следственных. Они сегодня есть, а завтра их уже нет. А вы теперь мне все равно что своими стали.

Логика этого тюремщика вполне понятна, и он привык „уважать и любить“ только тех, кто являлся более или менее постоянным элементом, населяющим тюрьму, и видел человека лишь в том, для кого строились тюрьмы и содержались штаты тюремщиков. И мы после приговора были обречены на долголетнее скитание по тюремным застенкам и в понятии Мамая являлись уже „людьми“ и объектами для существования целых кадров тюремной прислуги.

Вот этот-то Мамай и встретил нас в бане, куда мы были приведены для переодевания. В углу лежала большая груда арестантских рубах, летних брюк и бушлатов, сшитых из легкой парусины.

— Ну, снимайте все вольное, да одевайтесь по форме,—крикнул он.

Когда мы оделись, Мамай принес целую охапку черных арестантских шапок, старых до невозможности, грязных и покрытых толстым слоем плесени.

— Получай, только что из магазина, самые новые,—острил Мамай, оглядывая нас с ног до головы, самодовольно улыбаясь и поглаживая свою бороду,—ну, вот, теперь совсем на людей похожи.

И он обходил нас со всех сторон, похваливал наши костюмы, пока мы, вновь испеченные „люди“, не отправились в свою камеру.

*

Почти каждую ночь в тюремной конторе заседал особой военный суд.

Когда смолкала дневная жизнь, и тюрьма засыпала, являлась банда полупьяных офицеров, представлявших „суд скорый и правый“.

Эти ночи навсегда останутся в памяти тех, кому пришлось их пережить.

Прошла вечерняя поверка. Тюремная жизнь затихла, только дежурный надзиратель ходил по коридору, изредка заглядывая в волчок той двери, откуда слышались слишком громкие разговоры заключенных. Время от времени стучал о пол прикладом винтовки часовой, и этот стук громко отдавался под сводами заснувшей тюрьмы.

Заключенные разделись, легли, но еще не спали. В открытые окна смотрела белая ночь, и чистый, не отравленный днев-

ною пылью большого города, воздух, вливаясь в вонючие камеры, опьянял своей ночной свежестью. Городская жизнь умолкла; в мертвом освещении белой ночи стояли неподвижные призраки заснувших домов. На западе догорала заря.

В камере велись сдержанные, вполголоса, разговоры. Те горячие споры, которые велись днем, переходили то в спокойные, мечтательные беседы, полные уверенности в близости освобождения, то в поэтические сказки, которыми мы упивались, как малые дети, вспоминая далекое детство и забывая ту гнетущую обстановку, которая вырвала нас из жизни и ввергла в белогвардейские застенки.

Мертвая тишина белой ночи усыпляла мысль; забывались страдания, тяжесть неволи, пугающая неизвестность будущего.

Вдруг резко прозвучал трескучий звонок у ворот тюрьмы, вспугнул насторожившуюся тишину ночи, так же резко оборвался, на мгновение умолк, как бы в раздумьи, и еще настойчивее и назойливее затрещал, тревожа мысль и будя сознание. Лежавшие у окон товарищи приподнялись; из глубины камеры несколько человек, осторожно ступая по грязному полу, подошли к окнам.

Торопливо и озабоченно, гремя ключами и протирая заспанные глаза, с крыльца конторы спускался привратник. Он заглянул в волчок ворот, сунул ключ в замочную скважину и два раза повернул его.

Ворота открылись, и, широко шагая через их порог, один за другим в тюремный двор вошло несколько офицеров с портфелями в руках. На их форменных английских шинелях были русские золотые погоны.

Вскоре явился отряд солдат с винтовками.

— Опять всю ночь судить будут,—сказал кто-то из стоявших у окна.

На тюремном дворе забегали надзиратели. Торопливо спускаясь с крыльца конторы, неуверенными шагами прошел к тюрьме полупьяный помощник начальника Шестерка. Этот палач бывал пьян во время всех судов и отправки приговоренных на расстрел.

Отбивая такт, к тюрьме подошли солдаты. За окнами послышались неясные слова команды, и в ответ на них слышно было, как дружно ударились о пересохшую землю приклады винтовок. Еще минута—и тяжелые шаги грубых английских подбитых железом ботинок гулко раздались в низких каменных стенах, поднимаясь по лестнице, становясь все ближе и ближе. Вот они наполнили коридор и слились со стуком винтовок, неприятным звоном ключей и шумом голосов, среди которых выделялся пьяный, визгливый голос Шестерки, отдававшего распоряжение надзирателям.

— За кем они пришли? Кого ожидает сегодня жестокая кровавая расправа пьяной банды офицеров—представителей „законной власти“?

На эти вопросы никто не мог ответить.

Немногие заключенные в этот момент спали, но в камерах была жуткая тишина, нарушаемая только шумом в коридоре. Чутко прислушиваясь, все насторожились и присмирели, как затихает все в природе, когда вот-вот разразится первый оглушающий удар грома. Каждый со смутным чувством невольного страха думал, что настал его черед, и с тайной, робкой надеждой прислушивался, в какой камере загремят ключи. Но это не был страх перед возможною близостью смерти. Нет. Это было невольное отвращение, смешанное с чувством ужаса перед тем произволом и диким разгулом убийств и насилий, которые во всей своей неприкрытой наглости и грубости развертывались вокруг, перед тем бессилием, которое отдавало заключенных в полную власть полупьяной банды вооруженных палачей. Даже мы, присужденные уже к каторге, не были спокойны в такие ночи, так как не были уверены, что и осужденных уже вторично не повлекут на расправу.

Неприятный лязг ключа в скважине замка невольно заставил всех вздрогнуть и насторожиться. Одни вздохнули с облегчением, что открылась дверь не их камеры, другие замерли в ожидании.

Кого же? Кого пришли вырвать из их среды эти опьяневшие от крови люди?

Пьяный голос Шестерки выкрикнул чьи-то фамилии, на мгновение все стихло, захлопнулась дверь, снова лязгнул замок; шум шагов и стук прикладов вновь наполнили коридор. Застучала дробь шагов по лестнице, удаляясь и стихая, гулко наполнила низкие своды нижнего этажа, и уже спокойно десятки солдатских ног отбивали такт на тюремном дворе.

Так продолжалось до двух-трех часов утра. Приводили одних, уже приговоренных к смерти, уводили других, которых ждала та же ужасная участь.

А заключенные не спали, и казалось—не будет конца этой расправе, и зловещую тишину ночи не сменит шумный день, среди которого даже эти закоренелые злодеи не решаются, несмотря на полную безнаказанность, совершать свое позорное и мерзкое дело.

Дрогнула белая ночь, робко забелела на востоке утренняя заря, разгораясь все больше и больше. Ничем не нарушаемая тишина царила в сонном городе, и только в мрачной, угрожающей своим угрюмым видом тюрьме кучка гадов белогвардейщины и контрреволюции продолжала свое дело. Мертвую тишину улиц нарушило тяжелое громыхание грузового автомобиля по избитой булыжной мостовой. Он все приближался, заполнил своим шумом сонные улицы, захватил внимание обитателей тюрьмы и остановился у ее ворот, тяжело пыхтя мотором. Вновь застучали шаги, загремели ключи, завизжали замки, и вновь из камер вырвали несколько жертв, чтобы увезти их на этот раз уже к месту казни. Но это были не те, которых только что осудили. До них еще не дошел черед. Это были осужденные в минувшие ночи.

Бывали случаи, что приговоренные к смерти по несколько недель сидели в „смертной“ камере и каждую ночь с минуты на минуту ожидали, что вот-вот явятся и за ними. Что они должны были пережить за эти недели, когда даже минута кажется вечностью! Цинизм палачей доходил до крайности, и в этом отношении особенно отличался Шестерка. Явившись в камеру за смертником, чтобы отправить его на расстрел, он говорил:

— Ну, тебя помиловали. Выходи, на свободу пойдешь!

В такие минуты, когда человек идет на казнь, так зло смеяться над ним могли только самые отъявленные убийцы.

Громыхал автомобиль, нагруженный жертвами беспощадного террора, окруженный стеною зловеще блестящих штыков, и опять все смолкало. И только через двадцать-тридцать минут до тюрьмы доносились с окраины города глухие ружейные выстрелы, нарушая торжественную тишину наступавшего утра.

Эти ночи навсегда останутся в памяти тех, кто побывал в лапах варваров и пережил их в Архангельской губернской тюрьме, этом средневековом застенке, где царили высшее издевательство над личностью человека, непомерная жестокость и не знавший пределов произвол. В эти ночи авантюристы, именовавшие себя Временным Правительством Северной области, чувствуя уже близкую свою гибель, дошли до предела жестокости. Десятки людей бросали на расстрел, как последнюю ставку для укрепления шатающейся власти.

Расстрелы производились то особым карательным отрядом, то мобилизованными солдатами. В последних случаях бывало, что позади солдат, производивших расстрел, выстраивали англичан с пулеметами, и под угрозой также расстрела солдаты совершали братоубийство, не смея отказаться.

Я говорю—братоубийство—не только в переносном, но и в буквальном смысле, когда один брат, мобилизованный бандитами белой армии, расстреливал другого брата. Варварство доходило до того, что расстреливали больных, которые не могли уже стоять на ногах. Так был расстрелян подпоручик Дрейер, бывший при советской власти командиром ледокола „Святогор“.

Мы видели почти всех вновь арестованных, приводимых в тюрьму. В одной из партий, состоявшей исключительно из солдат, был А., который в 1918 году находился в концентрационном лагере на острове Мудьюге. Весною он был взят из тюрьмы в испытательный батальон и теперь вновь приведен в тюрьму. Прошло после этого дня два. После обеда одни из нас лежали на своих койках, другие играли в шахматы, зорко поглядывая на двери, чтобы не заметил надзиратель, третьи читали. Вдруг открывается дверь, и в нашу камеру входит А., переодетый уже в арестантские одежды.

Оказывается, его и приведенных с ним товарищей уже судили, приговорили к смертной казни и за исключением А. и еще одного солдата, фамилии которого я не помню, расстреляли. Они же двое случайно в ночь приведения приговора в исполнение не попали под расстрел, а на следующий день смертная казнь

была отменена, но расстрелянных к жизни были не в силах вернуть те, кто по жестокости так же беззаботно и легко подписывали смертные приговоры, как пригласительные билеты на бал.

В последних числах июля мы узнали, что „парламентеры" К. и В. вернулись в тюрьму и сидят в камере смертников, где кроме них никого нет. Что бы это могло значить? На этот вопрос никто не мог ответить, даже „Тюремный вестник". Прошло еще дня два, а мы ничего не могли узнать. Вдруг В. и К. вернули в нашу камеру.

Они рассказали, что высадиться в Онеге им не пришлось, и пароход, на котором их везли, высадил на взморье вблизи Онеги десант белых войск, после чего отправился обратно в Архангельск. „Парламентеров" вернули в тюрьму. Им все-таки удалось узнать от беженцев-писарей белого штаба в Онеге, которые попадали в Архангельск, что Онежский фронт открыт, и Онега имеет связь с Советской Россией. Таким образом, восстание не носит местный и случайный характер. После этого понятно, почему В. и К. не были высажены в Онеге на берег. Хотя больше „парламентеры" ничего не знали, но уже и то, что они нам сообщили, радовало нас как начало активных действий, ведших к освобождению Севера от тирании белых.

По воскресеньям заключенным в тюрьме разрешались свидания и передачи. В эти дни намеками мы узнавали о том, что происходит на воле. Каждое воскресенье у тюрьмы собирались сотни женщин—жен, матерей и сестер заключенных. Долгие часы они простаивали у ворот в ожидании своей очереди. Эти „хвосты" женщин были полны негодования против тех, кто запер их мужей, сыновей и братьев за крепкие тюремные стены, и, уходя от тюрьмы, они разносили свое недовольство по городу и деревням.

Один из заключенных сказал мне однажды:

— Эти воскресные хвосты женщин у тюремных ворот опаснее для власти белых, чем все заключенные.

И он прав. Недовольство белым правительством нарастало, и рано или поздно оно должно было прорваться. В августе, когда я был переведен из тюрьмы на остров Мудьюг, в рабочих районах подготовлялось выступление с требованием амнистии всем политическим заключенным.

Иногда, по субботам, воскресеньям и в праздничные дни мы ходили для разнообразия в тюремную церковь: там мы могли встречаться с товарищами из других камер, узнавать тюремные новости и известия с воли. И, конечно, не религиозные убеждения, а только эта возможность увидеть и поговорить с товарищами толкала нас в церковь. Но и здесь мы не избавлялись от присутствия „крестиков" со своими неразлучными винтовками. Мы стояли за деревянной решеткой, и впереди нас всегда торчали три-четыре блюстителя порядка.

В первых числах августа в нашу камеру привели двенадцать новых каторжан. Это были мобилизованные солдаты с Селецкого фронта, осужденные по обвинению в подготовке восстания про-

тив власти белых. Многие их товарищи были расстреляны, этим же смертная казнь заменена каторжными работами. Их судил военнополевой суд на фронте. На лицах некоторых еще заметны были следы побоев. Они рассказали нам, как расправлялись с ними во время допросов.

— Представьте себе комнату в деревенском доме,—начал свой рассказ один, а другие дополняли и поправляли его,—окна которой, несмотря на то, что дело было днем, наглухо завешены одеялами так, что ни один луч дневного света не проникает сквозь плотную ткань. Посреди комнаты стол. За ним несколько офицеров. На табурете перед столом таз и рядом на полу ведро с водой.

Тускло светят и горят свечи, и когда наверное знаешь, что за драпировкой окон стоит ясный, солнечный летний день, то эта мрачная обстановка комнаты гнетет, давит и пугает. Не для простого же допроса создавать среди белого дня такую таинственную обстановку, которая невольно напоминает своим видом застенок. На столе лежат револьверы. У дверей стоит офицер с винтовкой. Офицеры же приводят и отводят арестованных. Солдат не видно. Во время допроса, когда допрашиваемый не сознается в приписываемом ему преступлении, из-за стола встает офицер и начинает его избивать. Били беспощадно и жестоко.

Избитого до крови заставляли умываться, и избиение продолжалось. Среди арестованных были ни в чем не повинные люди.

Начальником тюрьмы в то время был Брагин, а старшим помощником его — Воюшин (Шестерка). Второй помощник начальника тюрьмы—Лебединец (Тенденция)—был убит одним из заключенных в больнице. Вместо него были вновь назначены помощники—Трубников и Д., которых заключенные прозвали первого—дядя Пуд и второго—Барышня.

Они не являлись старыми тюремщиками и откомандированы были в тюрьму из частей войск за недостатком тюремного персонала.

Дядя Пуд получил это прозвище за свою комплекцию. Высокий, толстый, с ленивыми, спокойными движениями и развалистой походкой, он вполне заслуживал это прозвище, да и вообще тюрьма всегда изобретательна на прозвища своим врагам.

Слухи о скорой отправке в каторжную тюрьму на остров Мудьюг становились настойчивее, и со дня на день мы ожидали, что вот-вот нас отправят. Вскоре вызвали на медицинский осмотр. Все мы были признаны вполне способными вынести каторжные работы, хотя большинство составляли больные и изнуренные продолжительным заключением.

Среди нас был некто П. Несмотря на свой преклонный, за 60 лет, возраст и грыжу, он также должен был следовать на каторгу.

Перед отправкой нас вызывали для обмера, отпечатка пальца, записи всех примет и сведений, необходимых для заполнения наших каторжных документов.

Опрашивал помощник начальника тюрьмы дядя Пуд. Он был вежлив и предупредителен. Когда я ответил на его вопрос — на сколько лет меня присудили, — он сказал:

— Ну, долго вам сидеть не придется.

По его обращению, недомолвкам и полунамекам было ясно, что положение белых шаткое, и они чувствуют, как созданная союзными штыками почва уходит из-под их ног.

12 августа утром нас вызвали на переодеванье, и мы сменили нашу арестантскую белую одежду на серую каторжную, до невозможности грязную и настолько изорванную, что трудно представить, как еще она могла держаться на плечах. Через несколько минут мы уже представляли собой однообразно одетую, но жалкую, в казенных лохмотьях толпу. Как только кончился обед, нас выгнали на двор, и начался обыск.

В нашей партии было двадцать четыре человека. Против своего ожидания мы не были закованы в кандалы, как первая партия каторжан.

Кончилась утомительная процедура обыска, открылись тюремные ворота, и, окруженные конвоем военной милиции, мы двинулись по грязным после недавнего дождя улицам. Уже у самой тюрьмы ожидали жены и матери некоторых заключенных. Как это ни странно, но каждый раз, когда мне приходилось в партии уходить из тюрьмы и возвращаться в нее, у ее ворот всегда ждали женщины, близкие кому-нибудь из моих товарищей по этапу. Сколько забот, сколько времени должно было уходить на то, чтобы заранее узнавать, обивая пороги всевозможных канцелярий, о всех переменах подневольной жизни своих мужей и своих сыновей, сколько терпения нужно было для того, чтобы выслушивать насмешки и грубости судейских!

Отставая и торопливо подстраиваясь после каждого грубого окрика конвоира, изнемогая под тяжестью поклажи и смахивая время от времени с лица крупные капли пота, мы шли по грязным улицам. Несмотря на непривычную одежду, мы не чувствовали никакого смущения или неловкости из-за своей местами неприкрытой наготы. Прохожие останавливались при виде этой странной процессии серых оборванных людей и долго смотрели вслед. На лицах одних мелькала гримаса презрения и отвращения к жалким преступным отбросам общества, какими мы для них тогда являлись. В глазах других мы читали теплое участие и сострадание, и, наконец, в выражении лиц немногих рабочих, которых нам пришлось встретить, мы ясно видели стыд за это издевательство одних людей над другими и скрытую злобу к нашим палачам. Настроение толпы, в сравнении с тем, что было год тому назад, когда я следовал с первой партией в лагерь „военнопленных“ на тот же остров Мудьюг, резко изменилось. Тогда мы видели со стороны большинства грубые насмешки и пожелания больше не возвращаться, теперь же — сочувствие и накипевшее недовольство против варварского режима белых авантюристов и их „друзей“ — союзников. По старой, знакомой уже каждому из нас дороге мы дошли до Соборной при-

стани, где нас ожидал пароход „Обь“. На пристани собралась толпа родственников, знакомых, просто зевак и „сочувствующих“. Нас загнали в трюм.

Прошло с полчаса. Застучал винт, и пароход отвалил от пристани, развернулся и пошел вниз по Двине.

„Вихри враждебные веют над нами...“ — запели мы.

*

Замолк стук винта, резко загремела над самой головою цепь, дрогнув всем корпусом, пароход остановился. До берега сажен сто. К пароходу подъезжал большой бот. Два каторжанина редко и с заметным усилием вскидывали большими тяжелыми веслами, а на руле стоял солдат, на зеленом английском френче которого выделялся яркокрасный шнур револьвера, скрытого в желтой кожаной кобуре. На море тихо, и только легкая зыбь бежит по его простору. Солнце склоняется к западу.

Три раза подходил к пароходу бот, увозя на берег новых обитателей Мудьюга. В последней партии выехал и я. Когда мы подъезжали к берегу, на маленькой пристани, вернее—мостках, стоял высокий, толстый мужчина в военной английской форме с русскими погонами защитного цвета. Его вполне было можно принять за белогвардейского офицера, и только темносиняя фуражка с светлосиним кантом говорила о его принадлежности к тюремному ведомству. В руках его была простая некрашеная палка на кожаном ремешке, которой он нетерпеливо помахивал и нервно постукивал по доскам пристани, громко ударяя тяжелым железным нето болтом, нето барочным гвоздем, который был приделан на конце палки. То был начальник каторги Судаков.

Когда бот стал приближаться к пристани, каторжане изо всех сил налегли на весла и прекратили с нами разговор, украдкой поглядывая в сторону „всесильного начальника“.

Чтобы не „беспокоить“ господина начальника, бот не пристал к пристани, а ткнулся носом в песок, не дойдя аршин двух до берега. Мы выпрыгивали прямо в воду.

Через полчаса мы подходили к каторжной тюрьме. Это были те же самые бараки, обнесенные проволочным заграждением, в которых с 23 августа 1918 года по 25 мая 1919 года содержали „военнопленных“. Концентрационный лагерь военнопленных с 22 июня 1919 года по распоряжению предприимчивого правительства был переделан в каторжную тюрьму.

Мы остановились у ворот, и опять началась неизменная процедура обыска. Пока нас обыскивало несколько человек унтерофицеров, Судаков разложил на столике наши документы и, выкрикивая по фамилиям, сверял нас с фотографическими снимками, не произошло ли за время пути какой-нибудь подмены. Обысканных пропускали за проволочные заграждения во двор тюрьмы.

Было уже около десяти часов вечера, когда кончился обыск. Мы стояли, выстроившись в два ряда; когда подстроился последний из обысканных, в тюремные ворота торопливо вошел фельдфебель и, еще не доходя до нас, крикнул:

— Смирно! Шапки долой!

Его голос спугнул тишину вечера и замолк где-то вдали. За фельдфебелем показалась грузная фигура Судакова, помахивавшего своей палкой.

— Здорово, ребята!—крикнул он и окинул всех нас ласкающим взглядом голодного волка.

Пройдя несколько раз вдоль строя, он остановился посредине, выдержал несколько минут паузу и начал „приветственную“ речь.

— Вы переступили сейчас порог каторжной тюрьмы. Это вам не губернская тюрьма, где вы жили, как в хорошей гостинице. Здесь каторга, понимаете ли вы... ка-тор-га! Здесь свои порядки, свои законы. Отныне вы лишены не только всех прав, но и собачьего лая. Теперь вы должны отвечать только: „так точно“, „никак нет“, никаких других ответов, никаких рассуждений я здесь не допущу. Я был помощником начальника каторги в Сибири, у меня там было пять тысяч каторжан, и они все дрожали передо мной. Я вас так драть буду, что мясо клочьями полетит. Мне дана власть такая. Я могу пристрелить каждого из вас и, как собаку, выбросить в лес...

И он указал своей палкой по направлению к лесу, который зеленою цепью тянулся за проволочными заграждениями.

До нас на каторге находилось около сорока человек. Барак ожил. Расспросы—нетерпеливые и непоследовательные—сыпались со всех сторон, и, сбитые с толку, мы забывали, что надо отвечать. В свою очередь мы расспрашивали о режиме, который здесь был, о порядках, работах и обо всем, что нас в первую очередь интересовало.

— За ужином!—крикнул кто-то, и два старых товарища, взяв деревянный ушат и водонос, отправились на кухню. Шум немного затих, все вставали в очередь в ожидании ужина...

— На поверку!—крикнул опять кто-то, как только кончился ужин.

И все выстроились в два ряда в проходе между нар. С грохотом упал железный запор, открылась дверь, и вошли фельдфебель и унтер.

— Смирррно!—громко и с резким ударением на „р“ крикнул унтер.

— Шесть... восемь... двенадцать,—считал фельдфебель, сосредоточенно смотря, все ли стоят в затылок и, чтобы не сбиться, против каждой нары взмахивал карандашом, который держал в руке.

Обойдя всех, он записал что-то в тетрадь, которая была в другой руке, подумал, перекинулся несколькими фразами с унтер-офицером и громко, нараспев крикнул:

— Пой молитву!

После поверки, когда утих бестолковый шум первой встречи, мы могли уже спокойно поговорить со старыми товарищами, познакомить их с новостями, а они, в свою очередь, рассказывали нам о своем житье-бытье, о местной администрации.

*

Начальник каторги Судаков, который так „мило“ нас встретил, до революции был помощником начальника одной из каторжных тюрем Сибири. Своим зверским обращением с заключенными он заслужил среди них настолько гнусную репутацию, что, как только грянула революция, вынужден был бежать, спасаясь от вполне заслуженной расправы. Появившись в Архангельске, где его никто раньше не знал, он поступил в одну из биржевых артелей, где служил до занятия Архангельска союзниками. У белых авантюристов была неограниченная возможность каждому мерзавцу проявить свои блестящие способности и энергию в проведении белого террора. И он был приглашен на службу „социалистическим“ правительством Чайковского как незаменимый палач. По своей жестокости и бесчеловечности он вполне отвечал той гнусной политике, которую проводила пригласившая его на службу банда.

Когда мы рассказали старокаторжанам о том, как нас Судаков встретил, они ответили:

— Это еще ничего. Теперь он трусит немного, а вот, если бы видели, как он нас встретил.

Судаков любил „пошутить“, но все его шутки были грубым глумлением палача. Обходя работы, он неожиданно обращался к кому-нибудь из заключенных:

— Бегать умеешь?

Спрашиваемый, принимая вопрос за чистую монету, в недоумении отвечал:

— Умею.

— Ну, и беги, пуля догонит,— и, довольный своей плоской шуткой, заливался подленьким смехом, а в его узеньких глазах мелькали злобные огоньки.

— Ваше дело — бежать, а наше — стрелять,— говорил он и уходил.

Эти шутки в одном и том же духе повторялись каждый день.

У каторжан Судаков был известен под кличкой „паразит“, и хотя так заключенные называют всех тюремщиков, но Судакову, за его особые заслуги, каторжане пожаловали это название, как имя собственное.

Ближайшим помощником Судакова был фельдфебель военной милиции Бернатович. Это был один из более приличных „паразитов“, и от него заключенные не видели особых издевательств, за исключением редких случаев, когда попадались к нему „под горячую руку“.

Обязанности старшего надзирателя исполнял некто Коржаневский, унтер-самозванец. Среди нас были его старые сослуживцы по полку, где он был рядовым, но, когда в Архангельске произошел переворот, он назвался старшим унтер-офицером и поступил в военную милицию.

Небольшого роста, брюнет, с лихо закрученными маленькими усиками, глупыми глазами и самодовольной физиономией, он был воплощением хамства и тупости. Малограмотный, с трудом раз-

биравший по складам, слишком ограниченный в своем развитии, он разыгрывал из себя всесильное начальство и был смешон в своем высокомерии.

И, наконец, последний из начальников, заведующий цейхгаузом и вообще хозяйственной частью Черняев прибыл на Мудьюг рядовым и здесь за особо усердную службу сразу же произведен в старшие унтер-офицеры. Это был старый тюремщик, прежний надзиратель Архангельской тюрьмы.

Таково было начальство каторжной тюрьмы.

Охрана тюрьмы состояла из военной милиции.

Но самым крупным „паразитом“ являлся, безусловно, капитан Прокофьев.

С июня, когда на Мудьюге был ликвидирован лагерь „военнопленных“, и французский гарнизон оставил остров, Прокофьева назначили комендантом острова.

До назначения комендантом Мудьюга, у правительства белогвардейских банд он командовал так называемым карательным отрядом, который был не что иное, как отборная шайка для расстрелов и убийств.

На Мудьюге Прокофьев проживал на южной оконечности, где была пристань, в полуторе версте от тюрьмы, в его распоряжение для работ ежедневно посылалась партия каторжан в десять—двадцать человек. Пилили дрова, носили для распиловки бревна, перекапывали гряды и пр. Это были действительно каторжные работы, так как Прокофьев следил всегда за работами и ни на секунду не давал ни закурить, ни разогнуться. Он не ограничивался десятичасовым рабочим днем, который был установлен для каторжан, и каждый день задерживал как перед обедом, так и перед шабашем на полчаса, а то и больше, выгоняя ежедневно до двенадцати часов. В поисках наиболее утомительных работ он изощрялся до того, что заставлял заключенных, бродя по колено в воде, косить сено столовыми ножами. Он прекрасно понимал, что самая тяжелая, но производительная работа не так утомляет человека, как сознание полной бесполезности своего труда. Это был самодур и зверь, окончательно потерявший человеческий облик.

Свою деятельность на Мудьюге капитан Прокофьев, совместно с Судаковым начал с того, что, как только прибыла первая партия каторжан, он произвел полный разгром кладбища, явившегося результатом десятимесячного существования на Мудьюге лагеря „военнопленных“.

Всех заключенных, умиравших в лагере, хоронили за проволочными заграждениями на пригорке, где с этой целью был вырублен лес. Французы не препятствовали насыпать могильные холмы и ставить кресты. За время существования лагеря там выросло девяносто три могилы заключенных, умерших от голода, и на каждом кресте заботливою рукою товарищей по несчастью были прибиты специально сделанные в мастерской жестяные дощечки: кто похоронен и когда умер. Имелось в виду, что по этим надписям в будущем, когда минует кошмар

белого террора, родственники павших жертв будут иметь возможность найти могилы своих замученных мужей, сыновей и братьев. Большая группа крестов, резко выделявшаяся на пригорке как страшный памятник произвола, варварства и дикой расправы, напоминала должно быть Прокофьеву о многочисленных жертвах белого террора, участником которого он был. И мудрый капитан распорядился срыть все могильные насыпи, срубить и сжечь все кресты, сравнять место, занимаемое кладбищем, и поставить один общий крест. Эту работу выполняла первая партия каторжан в первые дни пребывания на Мудьюге.

Но каторжане обманули бдительность палачей и, оторвав от крестов дощечки, зарыли их в землю, чтобы впоследствии выяснить, кто был замучен в застенках Мудьюга.

*

Работы каторжан состояли в ремонте зданий, распиловке дров, сборке дров по берегу Белого моря, щедро выбрасывавшего ежегодно массу досок, бревен и других лесных материалов. Часть каторжан работала в кузнице, столярной, жестяной, сапожной мастерских, и несколько человек ходили на сенокос. Больше всего каторжане предпочитали работу по сборке дров на берегу моря, потому что она производилась не на глазах администрации, иногда за две-три версты от тюрьмы. Дрова с берега выносили на плечах за 50—100 саженей к опушке леса, вдоль которой проходил железнодорожный путь, откуда уже другая партия отвозила дрова на вагонетках к тюрьме.

За две недели до нашего прибытия на Мудьюг, 30 июля, во время этих работ, когда партия заключенных находилась в версте от тюрьмы, на опушке леса, трое каторжан—Дмитрий Варфоломеев, Андрей Лупачев и Василий Котлов — бежали, скрывшись в лес. Несмотря на разосланные патрули, ни в этот день, ни в следующий обнаружить беглецов не удалось. Разозленный капитан Прокофьев приказал конвоирам доставить бежавших живыми или мертвыми, иначе мол он расстреляет троих из конвоиров. Несмотря на то, что с момента побега прошло двое суток, оказалось, что бежавшим не удалось переехать с острова, и в ночь с 1 на 2 августа они были обнаружены патрулями и зверски убиты.

Администрация пустила слух, будто беглецы были убиты на расстоянии версты, после отказа сдаться, но это была ложь. Один из конвоиров рассказывал потом, что, когда бежавших обнаружили в лесу, они вышли на опушку леса с намерением сдаться, но конвоиры почти в упор выстрелили в них и раненых уже тяжело избили. Когда их привезли в тюрьму, которжане, хоронившие убитых, видели следы зверской расправы, которой подверглись беглецы. У Варфоломеева лицо вспухло и было покрыто кровоподтеками, а у Лупачева был совершенно снесен прикладом винтовки череп. Так они „случайно“ были убиты на расстоянии версты... прикладами. В этом „доблестном подвиге“ главное участие принимали верные „соратники“ капитана Прокофьева—солдаты Колышкин и Сапухин.

На следующий день по прибытии, рано утром, когда все еще в бараке спали, раскрылась дверь, и кто-то громко крикнул:

— Вставай, за кипятком!

Взяв ушат, двое заключенных пошли за кипятком. Барак начал оживать. Сладко потягиваясь, заключенные подымались с нар и лениво, нехотя одевались, в то время как некоторые, плотно завернувшись в одеяла, лежали еще, чтобы „понежиться в постели" хотя несколько минут.

Утреннее солнце ласково светило.

Принесли кипяток. Одни умывались над громадною деревянною „парашей" у дверей, другие спешили с чайниками к большому ушату, над которым клубами вился пар, третьи, усевшись на нарах, „баловались" уже чайком.

Был седьмой час утра. В бараке стоял шумный говор, который можно слышать только утром после продолжительного ночного отдыха.

— На поверку!

В ворота, не торопясь, вошли солдаты с винтовками и остановились перед бараком у низкого, засыпанного землею здания мастерских. Раскрылась дверь, вошел фельдфебель в сопровождении „старшего". Пересчитав нас, он отошел к двери, недолго выждал, пока мы, разойдясь по своим местам, одевались, готовясь итти на работу, потом крикнул:

— А ну-ка, мастеровщина, выходи!

Один за другим, не спеша, застегивая на ходу свои бушлаты и надевая шапки, мастеровые вышли из барака и направились к мастерским.

— Прачки, выходи!—снова крикнул фельдфебель, продолжая стоять у двери.

Еще три-четыре „прачки" отделились от нас и пошли в баню.

Фельдфебель недолго помолчал, подумал и снова крикнул:

— Ну, вылезай все,—и сам вышел из барака. За ним, толкаясь в дверях, шумною ватагой выходили на двор заключенные и выстраивались в два ряда на дороге между бараком и мастерскими.

Фельдфебель посмотрел в записную книжку и что-то отметил.

— Десять человек с правого фланга — два шага вправо.

Десять человек нехотя отделились от нас. Они уже знали, что им придется итти на пристань в распоряжение капитана Прокофьева, и это их мало радовало.

Трое конвоиров отделились от других и вскинули на плечи винтовки.

— Ну, пойдем, ребята!—сказал старший партии, и пять серых пар отправились на пристань.

— На сенокос! — крикнул фельдфебель, и трое заключенных пошли забирать косы и грабли.

Это были постоянные косари. Сенокос считался одной из лучших работ, так как покосы были в лесу, куда не заглядывала администрация.

— А ну-ка, на проволоку!

Все молчали и переглядывались. Только один, совсем еще молодой парень нерешительно вышел вперед.

— А где остальные?

Никто не отзывался. Надо заметить, что на колючей проволоке, которой забивали пространство между двумя рядами заграждений, приходилось работать все время на глазах администрации, проползая под проволокой, и на этой работе не только рвали в клочки одежду, но и царапали руки, а иногда лицо и тело. Каждый старался избежать этой работы.

— А где остальные пятеро?—повторил фельдфебель, зорко оглядывая всех стоящих перед ним.

— А ты что не выходишь?—спросил он, заметив, наконец, одного.

— Болен, господин фельдфебель, нога болит,—ответил тот, и по выражению его голоса было слышно, что он не менее сомневается в своей болезни, чем фельдфебель, недоверчиво и с улыбкой посматривавший на него.

— А ты что?—заметив второго, спросил фельдфебель.

— Рукавиц нет, господин фельдфебель, руки все изодрал.

— А где еще трое?

В это время из дверей барака показались трое „дезертиров“, которые надеялись отсидеться в бараке, пока других пошлют на проволоку, но, увидав в окно, что их „саботаж“ сорвался, решили выйти и нерешительно и смущенно приближались к нам.

— Ну, что же вы?—спросил фельдфебель.

— За рукавицами ходили,—нехотя ответил один.

— Четверо, ну, еще двое. Выходи кто-нибудь!

Никто не двигался. Все смущенно смотрели в землю, и только двое „больных“ торжествовали, что им удалось избавиться от работ на проволоке.

— Никого нет охотников?

Все молчали. Тогда фельдфебель указал на двух первых попавшихся, и партия проволочников была сорганизована. Все облегченно вздохнули: не предвиделось больше ничего страшного.

— Два, четыре, восемь, двенадцать, двадцать. Два шага вправо — на сборку дров.

Все задвигались, стараясь впереди других отойти вправо, и вместо двадцати человек там оказалось две лишних пары.

Сборка дров считалась одной из лучших работ так же, как и сенокос, поэтому все стремились попасть в эту партию. Четыре конвоира вскинули на плечи винтовки, и партия отправилась в путь, чтобы скорее скрыться с глаз начальства. Нас осталось около двадцати человек.

— Десять человек на пилку дров!

Еще десять человек отделились от нас и пошли к груде разного хлама.

Фельдфебель посмотрел на нас, подумал, заглянул в свою книжку, сделал рукой какой-то неопределенный жест и, направляясь к воротам, крикнул:

— Ну, а вы — в барак!

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ

Когда после обеденного перерыва мы вышли на работы, я в числе прибывших со мной товарищей попал на пристань.

У пристани капитан Прокофьев имел свой отряд, и старший из этого отряда унтер-офицер распределял присылаемых каторжан на работы по указанию своего патрона.

Часовой привел нас к клозету дома, в котором жил Прокофьев, и сказал, что мы должны вычистить не только этот клозет, но и все остальные у домов на пристани. Когда мы открыли яму, в ней ничего не оказалось, и чистить ведром было невозможно. Часовой сообщил старшему. Тот сходил к Прокофьеву и смущенный вернулся назад. Прокофьев, не обращая внимания на его заявление, сказал:

— Пусть языками вылижут, но чтобы чисто было!

Делать нечего, приходилось исполнять каприз самодура. Пока мой коллега по новой профессии ходил разыскивать лестницу, из дому вышел сам Прокофьев и направился ко мне.

Это был мужчина лет сорока, среднего роста, в его черных волосах серебрилась седина. С резкими, нервными движениями он шел как-то боком, смотря в землю. Каждое движение говорило о жестокости и бессердечии этого угрюмого человека.

— Как фамилия? — отрывисто бросил он, хотя, повидимому, знал уже мою фамилию, так как по его распоряжению я и Ц. были назначены на чистку клозетов. Отвечаю.

— Сколько дали? — задает второй вопрос Прокофьев, и я догадываюсь, что он спрашивает о сроке, на который я осужден. Опять отвечаю.

— Мало, — выпалил Прокофьев, — жди, пока расстреляют!

И, быстро повернувшись на каблуках, ушел. Пока он меня спрашивал, я ни разу не мог уловить взгляда его глаз, которые все время были опущены в землю. Когда я передал свой разговор с Прокофьевым товарищам, они сказали мне, что это его любимые вопросы, а взгляда этого человека никто не видал. Он всегда рыскал по земле, и прямо в глаза Прокофьев никому не смотрел.

Ц. принес лестницу. В это время подошел опять Прокофьев. Он убедился, что в клозете ничего нет, и что не только ведром, но даже ковшом ничего не зачерпнешь, и все-таки не только не отменил своего распоряжения, но нашел маленькую жестяную банку величиной со стакан и приказал ею вычерпывать из клозета.

Это было уже издевательство, такое же, как косьба сена столовыми ножами.

На следующее утро мы опять были отправлены на пристань. Капитан Прокофьев еще спал, и разбивку на работы производил „старший". Я попал на пилку дров, а Ц. — копать гряды. На чистку клозетов пошли другие. Когда Прокофьев проснулся и увидел в окно, что мы на других работах, то призвал „старшего" и спросил:

— Почему клозеты чистят не Н. и Ц.? — и распорядился послать на чистку клозетов нас, а тех, которые чистили, — на наше место. Но не прошло и получаса, как почему-то снова распорядился послать меня копать гряды.

В этот день с утра, не переставая, шел дождь, и мы промокли до костей. Я был обут в легкие летние полуботинки. Ноги глубоко увязали в рыхлой, липкой земле, которая набивалась в ботинки, мокрая одежда приставала к телу, холодный морской ветер пронизывал до костей, спина и руки ныли, но разогнуться и отдохнуть было нельзя. Прокофьев то смотрел в окно, то, несмотря на дождь, проходил мимо и подгонял работавших. Минуты тянулись бесконечно. Вдруг Прокофьев выкрикнул мою фамилию. Я перестал работать. Он подозвал меня и приказал итти на берег моря собирать лошадиный помет.

Видимо он спохватился, что дал мне более или менее осмысленную работу, и поспешил исправить свою ошибку. Было ясно, что я заслужил особое „расположение" Прокофьева, и он решил, как говорится, вымотать из меня всю душу. Даже солдаты возмущались его издевательством, когда он дал мне новую работу — собирать по поселку, где мы находились, пустые банки из-под консервов. Но, увы, банок нигде не было, и я извлек только две жестянки из помойной ямы и проходил с ними под непрекращающимся дождем до обеденного перерыва.

После работы на дожде и ветре, в одном рваном, холодном бушлате и с мокрыми ногами, я долго не мог согреться и, как больной, не вышел с обеда на работу. Мои товарищи, возвращаясь с работы, передавали мне, что Прокофьев спрашивал, почему меня нет на пристани. На следующий день я не попал в партию отправлявшихся на пристань и этим избавился от дальнейших издевательств Прокофьева.

Судаков часто обходил работы, зорко посматривая, не отдыхает ли, или не разговаривает ли кто-нибудь.

Помню один случай, когда двое каторжан, пиливших дрова, тихо беседовали, не замечая, что в ворота тюремного двора входит Судаков. Он подошел к ним и, трясясь от гнева, размахивая своей палкой, крикнул:

— Молчать! Я вам покажу, как митинговать. Здесь не митинг, а каторга. Я вас сгною в карцере, мерзавцы, и выброшу туда, — он своей палкой указал в ту сторону, где на пригорке, за колючей изгородью, на фоне голубого неба выделялся большой, залитый лучами утреннего солнца, кладбищенский крест.

Беседы заключенных особенно раздражали Судакова. Он во всем усматривал митинги, агитацию и заговоры.

Благодаря тревожному для белых настроению, которое создалось с занятием советскими войсками Онеги и неустойчивым положением в тылу, конвоиры относились к нам не только осторожно, но даже предупредительно. Отправленные на сборку дров, мы большую часть дня, а то и весь день, проводили на отдыхе на берегу моря, ходили в лес, где было изобилие ягод и грибов. Каждый раз мы набирали грибов и вечером жарили.

В дни прибытия парохода „Обь“ несколько человек из заключенных бралось гребцами на лодку, которая выезжала к пароходу. Благодаря этому мы узнавали через команду парохода новости.

В начале второй половины августа капитан Прокофьев совсем уехал с Мудьюга, и с этого времени работы на пристани мы не только не избегали, но стремились всеми способами попасть на нее в надежде узнать что-нибудь новое.

Приблизительно в то же время вновь прибыло из Архангельска человек сто. Каторжан в этой партии было около десятка, остальные же были следственные заключенные, их поместили в большой барак. На наш вопрос — почему их отправили на Мудьюг, несмотря на то, что они не осуждены, они ответили, что началась разгрузка „губернской“, так как опасались держать в городе переполненную заключенными тюрьму.

В виду увеличения числа арестованных, из губернской тюрьмы были переведены на Мудьюг помощники начальника тюрьмы: Воюшин — Шестерка и Трубников — дядя Пуд.

Почти с каждым рейсом парохода начали прибывать новые и новые партии, и число каторжан, помещенных в нашем бараке, доходило до ста двадцати, а следственных в большом бараке — около четырехсот. От вновь прибывших товарищей мы узнавали все, что происходит в Архангельске, и иногда получали газеты.

Каждый раз, как приходил на Мудьюг пароход, команда его, сообщая тем из нас, кто попадал гребцами на лодку, выезжавшую на пароход, новости, говорила, что пройдет самое большее несколько недель, и мы будем свободны. И мы ждали со дня на день, что вот-вот вспыхнет восстание. А время между тем шло, впереди были лишь одни надежды, и у многих, если не у большинства, закрадывалась мысль:

— Ждать ли этого момента, или же самим попытаться поднять восстание?

И эта мысль властно овладела ими в виду не исключаемой возможности, что перед бегством в последний момент из Архангельска белые авантюристы могут взять нас с собой на пароходы и произвести кровавую расправу. Это предположение имело большие основания, и вопрос о массовом побеге стал обсуждаться между отдельными, наиболее тесными кружками надежных товарищей.

Вопрос о побеге облегчался тем, что часть конвоиров, видя всю неустойчивость белогвардейской авантюры, соглашалась бежать вместе с заключенными.

В первых числах сентября побег был окончательно решен, и в одну из ночей два конвоира должны были прервать телефонное сообщение с Архангельском, „снять“ часовых и открыть дверь барака. Поздно вечером они уже оделись, чтобы итти на выполнение этого плана, но каким-то путем администрация тюрьмы узнала и стала держаться настороже.

Побег был отложен до более благоприятного случая.

Так продолжалось до 14 сентября. Настроение у всех было ожидательное и тревожное. В воскресенье 14 сентября мы работали до полудня. После обеда, пользуясь праздничным отдыхом, одни спали, другие подстригали и брили друг друга, третьи занимались починкой своего скудного гардероба, и, наконец, четвертые просто слонялись от безделья из угла в угол. Двое ушли на пристань, так как должен был притти пароход из Архангельска, и мы с нетерпением ожидали их в надежде услышать что-нибудь хорошее, получить нелегальным путем газету и узнать, кому есть с парохода передачи. Пароход, сверх ожидания, пришел в этот день значительно раньше обыкновенного, и мы не знали, чем это объяснить.

Вдруг в барак приходит Шестерка со списком в руках и вызывает около пятнадцати человек. Проверив их по списку, он приказал собрать вещи и выходить на двор.

Через пять-десять минут они были уже на дворе. Здесь к ним присоединилось еще около десяти человек следственных из большого барака, и все отправились на пароход, который должен был по расписанию отойти в Архангельск только утром на следующий день. Но на этот раз он ушел, как только захватил своих подневольных пассажиров.

— Куда их отправили? Зачем? Эти мысли весь день волновали нас.

Если бы были отправлены только следственные, то в этой отправке мы не видели бы ничего необычного. Ясно, что их вызывают на суд или же выпускают на свободу. Но отправку каторжан ничем нельзя было объяснить. Мы не допускали мысли, что они амнистированы: они могли быть освобождены только при общей амнистии. Одно лишь было для нас ясно: их увезли неспроста и ничего хорошего от этого ждать не приходится.

Возвратились с пристани гребцы. Они из разговоров с конвоирами выяснили, что заключенных из Архангельска, в виду тревожного положения, решено эвакуировать на Мурманское побережье в становище Иоканьгу, и что отправленные товарищи, повидимому, попадают в первую партию отправляемых на далекий Мурман.[1]

Среди нас были моряки, которые хорошо знали Иоканьгу. По их словам, это небольшое становище, где нет приспособленных для жилья помещений, да еще для такого большого количества людей, какое находилось в архангельских тюрьмах, на Мудьюге и в других застенках.

Есть лишь небольшие летние бараки для рабочих, совершенно непригодные для жилья зимою. Если добавить, что зимний климат скалистого, лишенного всякой растительности, омываемого водами Ледовитого океана Мурмана переносят лишь привычные люди, и притом находящиеся в нормальных условиях жизни, то прожить зиму без сносного помещения, без одежды,

[1] На самом деле это была первая партия заложников, отправленных в Англию, куда было увезено 100 человек, в том числе 50 красноармейцев.

без достаточного количества пищи, работая весь день на холоду, — было равносильно смерти.

Пережив все ужасы Мудьюга в зиму 1918/19 года, мы видели в этой отправке на Иоканьгу стремление „правительства" поставить нас в такие условия заключения, в которых жить невозможно.

Здесь со дня на день ожидали мы избавления от власти варваров, и вдруг из нашей среды начинают вырывать и отправлять товарищей на самый глухой, дальний север.

Нас тревожило то, что отправка на Иоканьгу может не только задержать освобождение, но при падении власти авантюристов не исключается возможность кровавой расправы с нами.

Эти слухи об Иоканьге взволновали нас и вновь выдвинули на первый план мысль о побеге как единственном пути к освобождению.[1]

*

Все больше и больше опускались сумерки. За морем догорала еще вечерняя заря...

Они совершали свой последний жизненный этап, а впереди их ждала уже неизбежная смерть.

Их было тринадцать человек... слабых, изнуренных тяжестью долгого заключения.

Сотня ощетинившихся стальною стеною штыков зловеще колебалась в сумерках вечера.

Солдаты шли мрачно, стыдясь за то страшное и гнусное дело, от которого они не смели отказаться.

Приговоренные твердо ступали, смутно надеясь на что-то, со слабо горящей верой еще в возможность жизни.

Выйдя из тюремных ворот, они повернули влево, к морю и длинной лентой растянулись за стеною проволочных заграждений.

На берегу моря остановились, и в окна нам был виден ряд темных силуэтов, среди которых можно еще было отличить приговоренных от солдат.

Принесли пулемет. Приговоренных выстроили на песчаном пригорке, спиною к морю, и теперь их серые фигуры отчетливо выделялись на бледнеющем фоне догоравшей зари. Длинною, беспрерывною, полукруглою цепью окружили их солдаты, и штыки винтовок зловеще заколыхались.

Мы замерли в томительном ожидании. Надежды не было никакой, но мысль отказывалась воспринять возможность не-

---

[1] Далее автор кратко освещает восстание и побег каторжан 15 сентября 1919 года. Не будучи у руководства по подготовке восстания, П. Рассказов не был знаком с подробностями восстания и побега, и поэтому эту часть его „Записок" мы опускаем, помещая в сборнике воспоминания одного из организаторов восстания и побега — Г. И. Поскакухина.

Несмотря на принятые бежавшими меры — перерыв сообщения Мудьюга с Архангельском, о восстании в Архангельске узнали в тот же день, и в 10 часов вечера 15 сентября на Мудьюг приехали контрразведчики, военнополевой суд с воинской частью. 16 сентября состоялся суд, и 13 заключенных было расстреляно сразу же после суда. **Ред.**

вероятного, нелепого, ничем не оправдываемого убийства. Не верилось, что те, кто еще так недавно был среди нас, через несколько минут будут лежать трупами на сыром морском песке. Мы были уверены и не верили.

В бараке стоял мрак, и группы темных, молчаливых, как бы застывших фигур, тесно прижавшись друг к другу, толпились у окон. Затаив дыхание, чутко прислушиваясь и напрягая зрение, смотрели в вечерний сумрак, где неподвижно маячили тринадцать обреченных на смерть.

Вокруг разлилась такая жуткая тишина, что не слышно было дыхания рядом стоявших. За эти бесконечные, мучительные минуты не было проронено ни слова. И все смотрели, смотрели...

А там, на берегу моря, шли последние приготовления.

Сжималось горло, нервы напряглись до крайности, как туго натянутые струны. Кто-то сдержанно кашлянул, и все болезненно вздрогнули.

— Тише! — полный мольбы и укоризны прошептал чей-то голос, и опять жуткая могильная тишина.

На западе все больше и больше бледнела полоса неба, захваченная зарею, и становилась все уже и уже. И чем дальше от нее, тем темнее становился небесный свод, переходя на востоке в темносиний, мрачный, пугающий своей необъятностью океан. Со стороны моря доносился чуть слышный шопот волн, набегавших на отлогую песчаную отмель.

Тра... та... та... та... тра... тра... та, — вдруг резко затрещали выстрелы, вспугнув тишину наступавшей ночи и отдаваясь глухим эхом где-то далеко в лесу.

Все вздрогнули и еще напряженнее вглядывались туда, где на чуть светлевшем еще фоне один за другим падали на морской песок приговоренные. И чудилось, что какой-то смутный крик донесся оттуда, но был ли это крик, или болезненное воображение напряженного мозга, — сказать трудно.

Безотчетный, чуть слышный стон, полный ужаса и бессильной злобы, вырвался из десятков грудей. А руки судорожно цеплялись за косяки окон и переплеты рам.

Смолкли выстрелы, и снова настала все та же спокойная, усыпляющая тишина наступавшей ночи, как будто ничего не произошло. Там, где еще мгновение назад выделялись тринадцать серых фигур, теперь ничего уже не было видно, и только море, спокойное и необъятное, уходило вдаль, да чуть тлела узкая кромка угасавшей зари.

Трупы убитых остались лежать на морском берегу.

Ночь скрыла всех — и убийц, и убитых.

Рано утром мимо барака провезли на вагонетках грудой наваленные, раздетые, залитые кровью трупы расстрелянных. При каждом толчке свесившиеся голые ноги вздрагивали, а стриженые головы с незакрытыми глазами качались из стороны в сторону. Первые лучи солнца, брызнувшие из-за зеленой цепи леса, скользя заиграли на буро-кровавых пятнах. Одна за другою все еще падали на песок густые красные капли.

Побег был неудачен. Из более чем четырехсот каторжан и следственных заключенных, бывших в то время на острове, бежало всего лишь пятьдесят два. Одиннадцать товарищей нашли себе смерть в первый же момент опьянения возможностью близкой свободы.

Они были убиты. Но мысль о бежавших волновала прислужников Антанты, и в газетах появились списки с грозным приказом изловить их во что бы то ни стало. Часть была поймана и нашла себе последний приют на залитых кровью „мхах", но часть все же пробралась туда, где в тесном кольце штыков мирового империализма рабоче-крестьянская Россия билась, истекая кровью, за свою Республику Советов.

Несмотря на то, что расправа уже кончилась, мы продолжали сидеть на карцерном положении. На работы не пускали, за исключением рабочих на кухне и нескольких человек, пиливших дрова. Через конвоиров мы узнали, что все бежавшие, в числе пятидесяти двух человек, в тот же день переправились через пролив на карбасах приехавших на остров крестьян.

Так прошло несколько томительных дней. За эти дни плотники делали большие ящики, в которые укладывались и отвозились на пристань рваные арестантские полушубки, одеяла, белье и прочее рванье. На что понадобилась эта дрянь, было непонятно, но все же было подозрение, не находится ли это в связи со слухом, циркулировавшим до побега, об эвакуации заключенных на Мурманское побережье.

Числа 20-го, рано утром, когда за окнами едва заалел восток, в барак пришли фельдфебель и старший, разбудив, взяли двадцать человек для каких-то работ на пристань. Против обыкновения они не пришли даже на обед и только поздним вечером, уставшие и продрогшие, вернулись с работ.

Они рассказали нам, что к острову подошел пароход с двумя стами арестованных солдат, отправляемых на Мурман в Иоканьгу. Таким образом слух об эвакуации оправдался, и это была первая партия, отправляемая на далекий, суровый Мурман. Вот на этот-то пароход и грузили то скудное арестантское обмундирование, которое перед этим запаковывали в ящики и отвозили на пристань. Но на этом пароходе не оказалось тех наших товарищей, которых накануне побега увезли в Архангельск.

Где они? С какою целью их увезли? Все это было для нас непонятно, и никаких слухов о них до нас не доходило.

В тот же день, когда грузили на пароход вещи, отправляемые в Иоканьгу, пришедший очередным рейсом на Мудьюг пароход „Обь" увез от нас в Архангельск еще до десятка каторжан. Зачем их увезли, было так же непонятно, как и отправка предыдущей партии.

В последующие дни положение не изменилось. Мы продолжали сидеть запертыми в своем бараке. Перспектива ехать на Мурман была слишком незаманчива, но и оставаться здесь, когда свежи были воспоминания о только что пережитых кошмарных днях, да при том режиме, который установился после

побега,—мало радовало. Пусть увозят, куда угодно; что бы ни ждало впереди, но только бы оставить этот мрачный остров.

24 сентября. Мы только что пообедали, как услышали свисток пришедшего из Архангельска парохода „Обь". Пароход по расписанию должен был придти только завтра, и этот внеочередной рейс был вызван чем-нибудь особенным. Не прошло и получаса, как в наш барак пришел солдат-писарь со списком в руке. Он выкрикнул фамилии двенадцати из нас, в том числе и мою, и проверил вещи, которые у нас находились, т.-е. нашу каторжанскую одежду. Закончив проверку, он сказал, чтобы мы приготовились к отправке.

Куда? Зачем?

Нас ожидал конвой из шести тюремных надзирателей, присланных из Архангельска и вооруженных только револьверами и шашками. Такой малочисленный конвой и притом из надзирателей, а не из солдат, как было обычно, не предвещал ничего плохого.

Довольные, что вырвались наконец с этого проклятого острова, мы были рады, когда большой, тяжелый бот отвалил от пристани, направляясь к стоявшему на якоре и мерно покачивавшемуся на морских волнах пароходу.

Уже вечерело, когда впереди показался Архангельск. Через полчаса пароход ошвартовался у Мурманской пристани, и мы отправились в губернскую тюрьму,—единственный „отель" в этом городе, гостеприимно раскрывавший нам двери во всякое время дня и ночи.

Против обыкновения нас не посадили в пересыльную камеру, а повели к главному входу тюрьмы. Здесь уже ожидали человек шестьдесят приведенных до нас арестованных. Нас задержали у входа. Пока стояли в ожидании, нам удалось узнать, что десять человек из бежавших с Мудьюга пойманы и теперь находятся здесь, в тюрьме, заключены в камеру смертников.

Нас пропустили без обыска вне очереди. Как каторжанам и постоянным уже обитателям тюремных застенков, нам была оказана привилегия. Перед нами открылась дверь общей камеры № 17.

Тускло светила грязная, засиженная мухами, электрическая лампочка. Все заключенные, а их было человек двенадцать, лежали уже на койках, но не спали. Среди них была часть каторжан, отправленных с Мудьюга в последней до нас партии, остальные—следственные. Этот разнообразный состав заключенных сразу же бросился нам в глаза, так как каторжан обычно содержали отдельно от следственных. Оказалось, что всех их собрали в эту камеру только сегодня из разных камер. Нас, конечно, интересовал вопрос: для чего это сделано? И ответ, который мы услышали, превзошел всякое ожидание.

В эту камеру собирают заключенных для отправки во Францию.

Мы ожидали всего, что угодно, но только не этой поездки, и поэтому отнеслись к такому сообщению недоверчиво. Но один из наших новых товарищей только сегодня днем имел

свидание с женой, которая ему сообщила, что, по заявлению прокурора, он в числе других заключенных отправляется во Францию для обмена на французских офицеров, находящихся в плену в Советской России.

Несмотря на всю сомнительность этих заявлений, приходилось с ними считаться, тем более, что в тюрьме было уже известно, что каторжане, увезенные с Мудьюга в Архангельск, накануне побега увезены с партией численностью в сто человек в Англию.

Мы привыкли уже за время своих скитаний по тюрьмам Северной области ко всевозможным насилиям и беззакониям, привыкли не удивляться самому дикому варварству, поэтому скоро свыклись и с теми новыми перспективами, которые перед нами открывались. Так или иначе, сверх всякого ожидания, мы преждевременно кончили играть роль долгосрочных и бессрочных каторжан краткосрочного правительства и теперь должны были выступить в новой роли.

Нахлынувшая волна всевозможных мыслей не давала покоя. Мы долго еще разговаривали, строя массу всевозможных предположений. Время было уже заполночь, мы расположились на грязном, заплеванном полу, без всяких матрацев, подложив под голову руку и закрывшись лохмотьями.

Тюрьма спала. Ее могильная тишина нарушалась лишь стуком приклада винтовки стоявшего в коридоре часового, да изредка стонал и бредил во сне кто-нибудь из товарищей...

Г. И. Поскакухин

ВОССТАНИЕ И ПОБЕГ КАТОРЖАН

Со 2 по 23 августа 1918 года, до отправки первой партии заключенных на остров Мудьюг, я находился в губернской тюрьме, в камере № 12. Тюремная стража называла эту камеру „комиссарской". Вместе со мной сидели товарищи Стрелков, Левачев, Гуляев, Диатолович, Хабаров, Рассказов и др. Всего нас было 25 человек.

Никогда не забыть дня отправки на Мудьюг первой партии заключенных—23 августа 1918 года. Охрана была настолько усилена, что солдаты стояли на три шага один от другого. Часовые все время наблюдали за окнами тюрьмы. Было запрещено открывать форточки и даже подходить к окнам, иначе часовые угрожали открыть стрельбу без предупреждения. Заключенных не выпускали в уборную. От переполненной параши воздух в камере настолько стал спертым, что вызывал тошноту и рвоту. Еще с вечера начались перестукивания заключенных соседних камер:

— Что у вас нового? Есть слухи, что белогвардейцы и интервенты хотят открыть полевые суды и намереваются производить массовые расстрелы...

... В пять часов утра приказали вынести парашу и открыть форточки. В это утро было много охотников выносить парашу, чтобы узнать одному от другого, почему белогвардейцы и интервенты так усилили охрану.

В девять часов утра явился конвой. На пять конвоиров один офицер. Это дало основание предполагать, что кого-то собираются отправлять. Но кого и куда?

Тюрьма зашевелилась. Заключенные запели „Марсельезу" и другие революционные песни. Вдруг открылась дверь нашей камеры, и в нее ворвалось пять человек стражи. Мы увидели озверелых людей с красными глазами и хриплыми от перепоя голосами. Они схватили за шиворот товарища Валявкина и вытащили его из камеры. Через несколько часов Валявкина вновь водворили в нашу камеру. Мы с трудом узнали Валявкина — так жестоко он был избит... Привели же его в камеру начальник тюрьмы Брагин и черносотенец Старцев с засученными по локоть рукавами и с сжатыми кулаками. Втолкнув в дверь несчастного, Старцев заорал с площадной бранью:

— Нате этого подлеца!..

Оказывается, Старцев и избивал нашего товарища.

Началась перекличка заключенных нашей камеры, после которой нам приказали выходить во двор с вещами.

— Да живо! Не задерживать, комиссарщина!..—напутствовали нас, подгоняя прикладами.

Во дворе снова перекличка, продолжавшаяся до 12 часов дня. Составилась партия в 135 заключенных.

Раскрылись тюремные ворота. Нам скомандовали:

— Справа по четыре! Без разговоров! В противном случае будем прикалывать на месте...

За стенами тюрьмы нас встретила масса народу. Буржуазная публика негодовала, посылая нам проклятья; нам плевали в лица, и мы не имели права даже вытирать плевки. Конвоиры идут один за другим, вытянувшись в струнку, с ружьями наперевес. Тут же офицеры с револьверами в руках.

Они то и дело покрикивают:

— Что за разговоры в строю?! Всыпать прикладом!..

Нас повели к бывшей Соборной пристани. Там стоял уже под парами пароход с причаленной к нему баржей. Конвой попытался удалить от нас собравшуюся толпу, в которой теперь были преимущественно женщины и дети, и в том числе матери, жены и дети арестованных. Но толпа сжималась все плотнее и плотнее, приближаясь к нам. Поднялся плач женщин и детей... Этого не забыть никогда.

Стража поняла, что здесь собралась не буржуазия, плевавшая нам в глаза. Очевидно поэтому избиения арестованных прекратили, начали перекличку, а после нее и посадку в трюм баржи. На наш вопрос: „Куда нас, на расстрел?"—стража ответила: „Нет, не на расстрел... Администрация разгружает тюрьму..."

Переполненную заключенными баржу закрыли наглухо. Пароход тронулся. Нас повезли. Но куда же? Может быть, куда-либо в безлюдную местность для уничтожения?..

... Слышим команду:

— Выходить из баржи... Справа по два... Грузить проволоку...

Каждый из нас должен перенести с берега на баржу по три круга колючей проволоки. Начинаем догадываться: что-то будем строить для себя. В конце концов узнаем: нас везут на остров Мудьюг, справедливо прозванный впоследствии островом Смерти.

Вечер 23 августа. Пароход причалил к острову. Началась разгрузка баржи: сначала выгрузили проволоку, затем приказали арестованным выйти на берег.

На следующий же день—24 августа — начались каторжные работы (переноска песка с одного места на другое), сопровождаемые бесчеловечными избиениями каторжан нагайками и прикладами.

У нас было три группы. Первая группа—товарища Левачева, в которую входил и товарищ Стрелков. Вторая группа, куда входил и я, была возглавлена Гуляевым и Валявкиным. С нами были также старый рабочий-путиловец Лохов и матрос с крейсера „Россия" Попель. Третья группа — офицерская: Василий Виноградов, Соловцев, Бриллиантов, Медовый. Эта группа вошла в полное доверие каторжной администрации.

Группа Левачева с первых же дней заключения занялась подготовкой побега: собирала и откладывала продовольствие, инструменты и даже оружие, которое можно было добыть и припрятать на случай побега. О подготовке побега группой Левачева был поставлен в известность товарищ Гуляев, которому было поручено обсудить в нашей группе этот вопрос. При обсуждении я внес совершенно другое предложение—подготовить восстание: обезоружить и обезвредить стражу, не дав ей опомниться, и организованно двинуться на материк. Для этого мы имеем ряд возможностей.

Разговоры о подготовке побега или восстания усиливались. Вместе с тем начали свою подлую работу шпионы и провокаторы. Начались аресты инициаторов с посадкой в карцер. Сначала бросили в карцер Левачева, затем Георгия Иванова, дошло дело до Гуляева и меня. Таким путем с 23 сентября 1918 года по 1 января 1919 года наши две группы были разгромлены; многие из наших товарищей умирали голодной смертью, других расстреливали.

С Мудьюга нас полутрупами направили обратно в губернскую тюрьму, затем в больничный городок, а оттуда в Кегостров—отбывать карантин после тифа и цынги. Там мы несколько оправились и снова заговорили о побеге. С этой целью Левачев связался с маймаксанскими рабочими. Рабочие подготовляли нам оружие, обмундирование и все необходимое для побега.

Но вот двое из нашей группы (Жданов и Волков) убежали раньше назначенного времени, чем сорвали побег всей группы. Это было в первых числах мая 1919 года. После этого нас из Кегострова снова заточили в губернскую тюрьму. Стрелкова, Левачева и меня изолировали. Положение наше ухудшилось.

На всю жизнь запомнилось, как интервенты и белогвардейцы формировали из среды заключенных губернской тюрьмы так называемый Дайеровский полк. Это было в первых числах января 1919 года. В губернскую тюрьму прибыли штабы интервентов и белогвардейцев, в том числе генерал Марушевский. Около генерала вертелся военный корреспондент белогвардейской газеты,—человек небольшого роста, с рыжей бородкой, в бобровой шубе, в черной шляпе. Он напоминал известного по северным белогвардейским каторжным тюрьмам палача Мамая. Корреспондент перебегал то к одному, то к другому переводчику, без конца и очень бойко записывал что-то в своем блокноте. Архангельская тюрьма в тот момент была переполнена арестованными.

По приказу интервентов и белогвардейцев нас около 600 заключенных вывели во двор тюрьмы и построили в две шеренги. Только больные и слабые, которые не могли ходить и даже стоять, остались в камерах. Выстроив, нам скомандовали:

— Смирно! Голову направо!..

Генералы интервентов и белогвардейцев со свитами обошли строй заключенных. Марушевский обратился к арестованным с призывом—вступить в организующийся белогвардейский полк. Затем—к военному корреспонденту:

— Запишите,—сказал он с апломбом,—что из заключенных формируется полк имени Дайера...

Сначала нам это было непонятно: люди не могут стоять в строю, половина из нас больны цынгой и тифом, и вдруг из нас хотят создать полк.

Командование обходило шеренги заключенных и спрашивало, кто, где и кем раньше служил в армии; многих из опрошенных отводили в сторону. Дошла очередь и до меня. Через переводчика меня закидали вопросами: где служил на действительной службе, в какой должности и т. д. За девять лет службы в старой армии я научился отвечать „по-военному“ и ответил коротко и четко. Военный корреспондент, обратившись ко мне, сказал:

— Вы участник японской и германской войн?! Вы, кажется, имеете большие заслуги?! Вам придется послужить еще нашей родине.

Переводчики похлопывали меня по плечу, приговаривая:

— Прекрасно, прекрасно!.. Участник двух войн...

Я направился в ряды „завербованных“. Стал в шеренгу, по-военному повернулся кругом, осмотрел строй своих товарищей. Стрелков остался не завербованным. Когда при опросе узнали, что Стрелков был председателем Архангельского уездного исполкома, а раньше служил во флоте, английский капитан злобно плюнул и пошел дальше.

„Завербовано“ было таким порядком около 180 человек. „Завербованным“ объявили, что они мобилизованы. Ошеломленный всей этой процедурой, я вышел из строя и обратился с вопросом к начальнику тюрьмы:

— Зачем меня вывели? Доложите переводчикам, что со мной вышло недоразумение...

Начальник растерялся, не зная, кому передать мое заявление; но переводчики догадались. Они подозвали меня к генеральской свите. Те спрашивают:

— Чего вы от нас хотите?

Отвечаю:

— Известно ли вам, что я бывший комиссар Архангельской пехотной дивизии Красной армии? Знаете ли вы, что комиссары беспартийными не бывают? А вы мобилизовали меня в ряды вашей армии. Очевидно здесь произошло недоразумение...

Переводчики засуетились. Получаю ответ: для них не важно, кем был я в Красной армии, а важно, чтобы я дал слово служить в белой армии „верой и правдой“, и мне все будет прощено.

Отвечаю:

— Согласия на службу в белой армии я не давал и не даю. Против своих товарищей, сражающихся в Рабоче-Крестьянской Красной Армии, не пойду. Тем более, что мои сыновья служат в Красной армии и сражаются против контрреволюции. Поэтому от службы в белой армии я категорически отказываюсь.

Эти слова мои взбесили генеральскую свору.

— О, да! Нам такой сволочи не надо! — услышал я.

Меня вывели из рядов „мобилизованных“. Начальник тюрьмы сказал:

— Тебе, собака, придется сгнить в тюрьме.

— Может быть,—отвечаю,—и придется сгнить в тюрьме, но до конца своей жизни я буду честно служить красным.

После этого инцидента от мобилизации отказались еще дватри десятка заключенных. Генеральская свора попала в неловкое положение и поспешила закрыть „мобилизацию“.. Больше всех, казалось, бесновался военный корреспондент. Он готов был растерзать меня:

— Ах, ты, гадина, комиссарщина!—орал он.—Не выбраться теперь тебе с Мудьюга. Это тебе даром не пройдет!..

Взглянув на Стрелкова, я увидел на его лице радостную улыбку. Не скрывая восторга, он сказал:

— Вот это ловко! Получайте, господа генералы, ответ заключенных...

Нас снова водворили в тюрьму.

Так или иначе, Дайеровский полк был сформирован. Об этой „мобилизации“ мы, сидя в тюрьме, стали было забывать. И вдруг в июне 1919 года узнали, что Дайеровский полк, направленный на фронт как образцовый, поднял восстание; часть солдат этого полка с оружием в руках перешла на сторону Красной армии, а часть из тех, кому это не удалось, была расстреляна через каждого четвертого. Оставшихся в живых снова заточили в тюрьму и на Мудьюг.

В июне 1919 года мы снова связались в губернской тюрьме с Левачевым, который дал нам совет:

— Будете живы—вас снова отправят на Мудьюг. Там немедленно готовьте восстание каторжан, для чего организуйте военный совет. В совет включите товарища Стрелкова. Мне из губернской тюрьмы больше не вырваться, так как дошли слухи, что меня, по всей вероятности, расстреляют.

В тюрьме до суда мне удалось переговорить с товарищем Стрелковым. Он сказал мне:

— Посмотрим, кому что будет на суде.

Мне на суде дали 15 лет каторжных работ, а Стрелкову, которого судили после меня,—12 лет и снова отправили на Мудьюг.

На Мудьюге нашу партию каторжан принимал начальник каторжной тюрьмы Судаков, известный своим жестоким обращением с заключенными. Он зачитал нам „правила внутреннего распорядка“. Из его похабной речи мы поняли, что очевидно здесь мы обретем себе могилу. Например, указывая границы площади, где будет строиться каторга, Судаков сказал:

— Вот там, на опушке леса, для вас отведено место. Это для могил. Там будем хоронить вас. Поступать с вами будем, как нам заблагорассудится. Впрочем, вам об этом меньше всего следует заботиться. Понимаете ли вы, у вас теперь есть свое начальство,—это я—Судаков. Я вам царь и бог! Пощады вам не будет... А вот здесь построим для вас особые кабинеты, назовем их карцерами. Ну, пока довольно. Марш в казармы! Надзиратели,

вперед! Разбить по нарам. Укажите каждому площадь. Если кто будет переходить с места на место самовольно,—у нас есть на это закон, а закон у нас один—расстрел на месте...

Меня посадили в каторжанский, а Стрелкова—в следственный барак.

Во время каторжных работ мы со Стрелковым возобновили разговор о восстании.

— Поверь, Георгий,—говорил он мне,—вторую зиму мы не переживем, это относится ко всем заключенным,—нас всех отправят на братские могилы, а ведь там лежит 250 человек, умерших голодной смертью! Нам необходимо повести за собой массу. Мы все равно состоим на особом учете судаковской банды. Так давайте же, приступим к вербовке повстанцев и поведем братание с часовыми. Назначайте военный совет, установите время: ночью или днем...

В августе и сентябре тройка из каторжанского барака приступила к вербовке людей. Днем и ночью шла лихорадочная обработка охраны. Дисциплина среди охраны заметно пошатнулась. Судаков не спроста больше всего стал находиться в Архангельске. Днем 13 сентября Стрелков был поставлен в известность: „сегодня в ночь ожидай сигнала к восстанию". День и ночь с 13 по 14 сентября были тревожными и утомительными для нас.

14-го в 2 часа ночи узнаем: нас кто-то предал. Каторжанский барак был оцеплен. Шестерка-Воюшин, разоблаченный теперь враг народа Бечин, а с ними и стража идут к нам в барак на обыск. Но мы приготовились к этому и все были раздетыми и как бы спящими. Стража шарила до утра, но ничего не нашла, к чему бы можно было придраться.

14 сентября 1919 года Стрелков шлет из следственного барака записку:

„Что случилось? Почему отложено восстание? Я требую—или сейчас или никогда..."

Утром 15 сентября я ответил Стрелкову. Свою записку я вручил во время работы политическим каторжанам, помещавшимся в одном бараке со Стрелковым, а те сумели удачно передать ее по назначению.

Писал я приблизительно следующее:

„Дорогой Петр Петрович! Охранники узнали о подготовке восстания... У нас в бараке производили обыск. Сегодня в час дня обезоруживай своего конвоира. Не забывай, что ты должен сделать: захватить склады с оружием на южной оконечности и дать мне подкрепление".

Откладывать восстание было нельзя. Подлые провокаторы-предатели и стража знали о нашем намерении. Каторжане волновались. Нет сил описать наши переживания с 13 сентября. Сошлись два смертельных врага: вооруженная охрана приготовлялась к разгрому возможного восстания, а каторжане намеревались поднять восстание и с голыми руками пробить себе дорогу через фронт белоинтервентов и влиться в ряды Красной армии.

До восстания осталось не более 20 минут. Каторжане ожидают моего сигнала, просят:

— Начинай же, Георгий Иванович, за тобой слово!

Меня охватывает волнение. Взяв себя в руки, осмотрелся кругом и подал сигнал. Подошел к двум конвоирам, охранявшим нас, спокойно выбил из их рук винтовки и снова дал сигнал: на штурм дома администрации!

Первого порыва было достаточно. Стража растерялась. Бросились в каторжанский барак, сбили засов. Тов. Быков ворвался внутрь барака, сбил дверь с заднего хода и скомандовал:

— Все выходите за нами, на штурм дома охраны!

Шпионы и предатели—Василий Виноградов и другие—запротестовали:

— Не смейте выходить!—кричали они заключенным.—Всех зачинщиков расстреляют...

Раздумывать или вступать в борьбу с предателями теперь не было времени. Я скомандовал:

— За мной! Выходите, кто может!

Но стража уже опомнилась и открыла по восставшим ураганный ружейный огонь. Однако, еще не все потеряно. За мной бросилось человек сорок, если не считать заключенных следственного барака, где находился Стрелков. А Стрелков давно уже был за проволочным заграждением.

Зову Стрелкова на помощь. Тот вернулся. Из следственного барака к нам подошло подкрепление, снова двинулись на штурм дома стражи. Из пяти членов военного совета ко времени боя осталось только два—я и Стрелков. Бечин и Молчанов оказались предателями. Коновалов позабыл свои обязанности, бросился спасать свою шкуру и, покинув поле боя, убежал к лодкам.

До восьми часов вечера небольшой наш отряд отбивался от стражи, чем было возможно. У нас уже осталось не более двенадцати винтовок на сто человек. Вышли все патроны. Стрелков советует отступать; ждать, пока нас прижмут к черным мхам, где, как он предполагал, была засада,—было бессмысленно. Принимаем решение: правому флангу отходить от барака в направлении Сухого моря, не отрываясь от Стрелкова.

Но и теперь нашлись предатели. Кто-то из каторжан крикнул:

— Спасайся, кто как может, мы окружены!..

Поднялась паника. Но вскоре группа каторжан во главе с Быковым подошла к нам на помощь с тем, чтобы прорваться через проволочные заграждения. Восставшие тащили с собой доски, которые положили через проволочные заграждения, и по ним перешло человек сорок из пятидесяти двух, находившихся с нами. У Быкова оказались патроны. Их разделили поровну и открыли огонь по страже. Стража бросилась в бегство, что дало нам возможность отступить к Сухому морю.

На площади у следственного барака осталось 11 убитых товарищей.

Вдруг бежит ко мне Быков и сообщает:

— Нас преследует кавалерия!

Патроны у нас еще имеются. Бьем из винтовок с колена по кавалерии и под обстрелом скрываемся в направлении моря. Теперь нас осталось только 15 человек, остальные уплыли на карбасах за Сухое море. Берем последний карбас. Нашли кол, доски и, кто чем мог, стали отталкиваться по направлению на материк. Подняли парус, но управлять им никто не умел. Кто-то крикнул:

— Смотрите, человек тонет, наверное, наш товарищ...

Карбас направили к тонувшему. Видим—это Стрелков.

Радости нашей не было предела. Стрелков продрог до мозга костей, но он быстро сел за управление карбасом и весело засмеялся.

— Вот и пригодился вам моряк,—сказал он.

Стража не прекращает обстрела, бьет по нам с черной башни маяка из пулемета. Но эта стрельба была уже не опасна для нас.

На материке собрались 32 бежавших товарища. Остальные 20 человек, как оказалось впоследствии, бежали отдельными группами. Стрелков предложил осмотреть карбасы, нет ли в них продуктов и хотя бы кое-какой хозяйственной утвари. В карбасах нашли 32 картофелины, банку для слива воды, топоры. Все это забрали с собой. Медлить было нельзя. Срубили телеграфный столб, чтобы прервать связь Мудьюга с Архангельском. С Мудьюга доносилась ружейная и пулеметная стрельба, продолжавшаяся и заполночь.

Отошли немного в сторону, сделали первый привал. Спали, как убитые, до утра 16 сентября. Утром разработали план продвижения к красным. Решили: держать курс на город Пинегу.

В нашей группе был тяжело раненный в ногу Андрей Иванович Рюмин. Кость его ноги была раздроблена, нога опухла, и он не мог двигаться. Пытались нести его на носилках, чем замучили и себя и раненого.

Рюмин стал упрашивать нас—оставить его.

— Забудьте меня,—говорил он,—мое дело безнадежное... Спасайте себя, иначе погубите все дело и не достигнете красного фронта... Оставьте, я умру спокойно...

Сделали маленький привал, построили для Рюмина шалаш, набрали ему грибов, ягод; оставили котелок, вырыли яму, из которой он мог бы набрать себе воды, дали спичек, старую рубаху для бинтов и, трогательно распрощавшись, пошли дальше. [1]

На пятые сутки мы сбились с направления. Перед нами оказалась река, берега с заливными лугами. Где мы? Никто не мог определить. Решили сделать разведку, чтобы не „напороться" на карательный отряд. Посланная разведка вскоре донесла, что на другой стороне реки, у избы, видны человек и лошадь. Поручили разведке — привести этого человека к нам. То был крестьянин деревни Лодьмы И. М. Рекин, приехавший с семьей на сенокос. Стрелков сказал ему:

---

[1] А. И. Рюмин умер у этого шалаша. Труп его впоследствии был найден местными крестьянами.

— Я бывал в вашей деревне, товарищ Рекин, я председатель Архангельского уездного исполнительного комитета...

Крестьянин всмотрелся и признал Стрелкова, который бывал в их Часовенском сельсовете. Он выразил удивление, сказав:

— Страшно посмотреть, что с вами сделали на Мудьюге.

Затем он спросил:

— Что вам нужно от меня?

— Мы голодны,—сказал я,—и нам нужно продовольствие. Поэтому мы заколем вашу лошадь и употребим ее в пищу.

— В нашем селе,—сообщил нам Рекин,—стоит конный отряд белогвардейцев. Если вы здесь задержитесь, вас могут схватить. Кто поймает Стрелкова да Поскакухина,—добавил он,—тому обещана награда...

Рекин отдал нам пять буханок хлеба, килограмма три рыбы, немного картофеля и соли. Мы поблагодарили его и попросили указать нам направление. Крестьянин охотно согласился.

— Обо мне ни слова... Если спросят — где я, скажите: пошел силки проверять,— наказал он своим.

Мы искренно благодарили крестьянина И. М. Рекина, когда он вывел нас лесной тропой на просеку, идущую к Пинеге. Это было 21 сентября 1919 года.

22 сентября мы встретили в лесу подростков — трех парней и двух девушек из Лодьмы, Часовенского сельсовета. Подростки испугались нас. Да и не удивительно! Тридцать один человек в оборванной каторжанской форме, вооруженные кольями и кое-кто винтовками, могли напугать в лесу кого угодно.

Расспросили ребят, откуда они, из какой деревни. Те ответили. Что делать с ними? Отпустить? Расскажут о том, что видели, и тогда нас поймают белогвардейцы. Решили взять их с собой. Ребята пошли. Дальше—больше, завязался с ними разговор. Оказалось, что Стрелков знает не только их деревню, но и их родителей. Снова привал и ночлег. Как и всегда, на ночевке развели костер. Ребятишки повеселели. Проснувшись утром, они отдали нам свои грибы, и мы с ними распрощались. В 1935 году, когда Архангельск справлял 15-ю годовщину освобождения Севера, эти ребятки, ставшие взрослыми людьми, рассказали, как они ночевали в лесу с бежавшими каторжанами.

Наш отряд подходил к городу Пинеге. Стали искать переправу на другой берег реки. Трех человек, больных водянкой, оставили на озере Келдо, так как они не могли двигаться и просили нас оставить их. Участь их для нас осталась неизвестной.

Для того, чтобы облегчить добычу продуктов—грибов и пр. и тем самым скорее добраться до расположения Красной армии, мы разделились на две части: группа в 15 человек пошла под руководством Стрелкова, а другая — в 13 человек — со мной. Быкову, шедшему в моей группе, здешние места были знакомы,—он уроженец Пинеги.

Подошли к самой Пинеге. Осмотрелись. На лугах—стога сена, крестьянские лошади, скот. Крестьяне занимались рыбной ловлей, охотой. Видим—на одной поляне телефонный провод.

— Понимаешь, что такое полевой телефон?—спрашивает меня Быков.

— Да,—отвечаю,—здесь, должно быть, белые...

Так оно и есть: кругом белогвардейская охрана, лучи прожекторов „прощупывают“ ночную темноту. Делать налет на белогвардейский гарнизон с нашими силами и оружием бессмысленно. Делаем возможное: перерезаем телефонный провод и нарушаем вражескую связь.

Через некоторое время видим верхового. Это конный разведчик белых едет с полевой сумкой. Распределяем свои силы и залегаем по обе стороны дороги, чтобы поймать разведчика, взять его. Верховой едет беспечно, лошадь идет шагом. Когда он подъехал к нам, я вышел на дорогу и взял лошадь под уздцы.

— Слезай, приехали! — говорю ему.

Разведчик подчинился. Забрали у него полевую сумку, револьвер, шашку, а его отпустили. Быков повел нас в безопасное место. Тем временем отпущенный нами разведчик успел добраться до своего штаба и сообщить о нас. Прожекторы были немедленно направлены на то место, где мы встретились с разведчиком. По освещенной местности белые открыли бешеную пулеметную и ружейную стрельбу. Около города поднялся рев скота, крики населения. Но мы были уже в безопасности—в лесу, в охотничьей избушке.

Отдохнули, сварили и поели грибов, пообсушились, а затем двинулись дальше. Белые продолжали стрельбу. Осторожно шли по лесу. К утру снова подвинулись к реке Пинеге с тем, чтобы определиться. Узнаем: перед нами белогвардейская застава. Пытаемся установить, не последняя ли это белогвардейская застава. Я и Быков идем в разведку. Получаем сведения о том, что белые уходят из этой местности в город Пинегу, проклиная свое командование, „правительство“ и интервентов.

Напрягаем все оставшиеся силы и идем вперед. Выходим на лесную просеку. Дорога неудобная. Осматриваемся и видим человеческие следы. Дальше, в сторону леса, видим красный флаг. Спешим узнать, что это. Оказалось, под этим флагом склад продовольствия — хлеб, махорка. Стало ясно: здесь были красные; радости нашей не было предела.

— Значит подходим к цели!

Спешим, не ослабляя своей бдительности. Осматриваем окрестность, узнаем: по ту сторону Карпова Гора—позиции Красной армии. Я и Быков спускаемся с берега вниз к реке.

Вот уже нас заметили красноармейцы, которые, повидимому, знали о нашем побеге. Через реку на лодке с пулеметом к нам плывут красные бойцы. Нас перевозят на ту сторону реки Пинеги в расположение своих частей и устраивают радушную встречу. Встречаемся с Стрелковым, который пришел сюда со своей группой накануне.

Так на двадцать пятые сутки пути через тайгу и болота, голодные и обессиленные, мы пришли с острова смерти в родную нам Советскую Россию.

В. Колосов

ПО ТЮРЬМАМ БЕЛОИНТЕРВЕНТОВ

ПЕЧЕНЬГА

Союзная интервенция на Мурмане фактически началась в марте 1918 года. В неприкрытой же своей наготе она проявилась в высадке в Мурманске 2 июля 1918 года десанта интервенционных войск. Произошло это за несколько дней до того, когда руководители Мурманского Совета изменили Советской власти и, вопреки распоряжениям Ленина и Сталина, по указке обер-бандита предателя Троцкого заключили соглашение с „союзниками". С этого времени начались массовые аресты работников действовавших на Мурмане партийных и советских организаций.

25 июня из Мурманска в Кандалакшу ко мне прибыл нарочный от начальника участка. Начальник сообщил мне, что в Мурманске, при помощи союзников, ведется открытая антисоветская агитация, что союзники снабжают белогвардейцев всевозможным оружием; начальник участка просил меня прислать людей на усиление охраны ВЧК.

Получив сообщение, я немедленно поставил в известность о событиях председателя Совжедора в Кандалакше и членов Совета железнодорожников. Обсудили с ними положение в Мурманске. Мне предложили с частью людей ВЧК, которой я тогда командовал, немедленно отправиться в Мурманск.[1] Вечером того же дня я с семидесятью латышскими стрелками выехал в Мурманск, куда мы и прибыли днем 27 июня. Кандалакские агенты генерала Звегинцева сообщили контрразведке о нашем выезде в Мурманск еще накануне. Белогвардейцы несколько приутихли. Интервенты установили контроль на Мурманской железной дороге, заняв все стратегические пункты как в самом Мурманске, так и на других станциях железной дороги. Через два дня, оставив в помощь начальнику Мурманского участка своих бойцов, я с двумя товарищами выехал из Мурманска в Кандалакшу для приема шедшего ко мне на пополнение отряда.

2 июля 1918 года, за два километра до станции Кандалакши, поезд, в котором ехали мы, внезапно остановился. Мы бросились к окнам вагона и увидели, что впереди и по обеим сторонам поезда стояли цепью англо-сербские солдаты и никого

---

[1] Наша 5-я рота ВЧК охраняла 3—5-й районы пути Мурманской железной дороги.

не выпускали из вагонов. Через несколько минут в наш вагон вошла группа вооруженных до зубов англо-сербских офицеров и солдат. Выяснив, кто мы, нам предложили сдать оружие. Мы запротестовали. Тогда интервенты применили силу и под угрозой немедленного расстрела отобрали у нас оружие. Арестованных, нас доставили на станцию Кандалакшу, посадили в пульмановский вагон под усиленную охрану.

При аресте в поезде у нас почему-то не отобрали документов. И после того, когда нас из пульмановского перевели в товарный вагон, мы уничтожили часть своих служебных документов и партийные билеты. В тот же день, 2 июля, около 6 часов вечера, нас под усиленным конвоем вывели из товарного вагона и разместили в солдатской палатке недалеко от Кандалакши, поблизости к лесу, под двойным постом часовых. После полуночи к нашей палатке подошли три английских офицера, несколько сербских солдат, сержант; проверив наличие охраняемых, один из английских офицеров отдал какое-то распоряжение сержанту. Сержант с сербскими солдатами через несколько минут доставил к нашей палатке из вагона сербов пулемет. Снова открылась парусиновая дверца в нашу палатку, и в нее заглянул другой английский офицер. Это был, как мы узнали впоследствии, полковник Торнхилл. Пристально посмотрев на нас, он подошел к группе офицеров и отдал им какое-то распоряжение. Солдаты и офицеры ушли от нашей палатки к лесу, где, произведя несколько выстрелов из пулемета, вернулись к палатке. Такая подготовка давала нам понять, что офицеры намерены совершить над нами расправу. Но вот к Кандалакше подошел пассажирский поезд; Торнхилла вызвали на станцию, а через полчаса ушли от нас солдаты и офицеры, оставив часовых. Почти на рассвете, утомленные путешествием и событиями прошедшего дня, мы легли спать.

Утром 3 июля нас вывели из палатки; под усиленным конвоем доставили к товарному вагону, стоявшему на пути вблизи станции Кандалакши; в вагоне разместили на досчатых полках, затем, под конвоем десяти английских солдат и двух сержантов, отправили в Мурманск. На пути в Мурманск английские солдаты и сержант, владевший русским языком, спрашивали нас: кто мы, чего хотят большевики, есть ли у нас родные, откуда мы происходим. На все вопросы конвоя мы отвечали правдиво, разъясняя им сущность Советского государства и его политики. Английские солдаты, сопровождавшие нас, относились к нам сочувственно. Во время ужина они делились с нами продуктами из своего пайка. В Мурманске нас передали другому, вышедшему к поезду, конвою и отправили в порт. В порту разместили в случайном помещении. К вечеру 4 июля к нам было приведено еще несколько арестованных советских граждан, в числе которых были тт. М. И. Иванов, Н. Д. Курасов и другие. На следующий день нас вывели на пристань, сфотографировали, посадили на тральщик и отправили в море, к Ледовитому океану. Куда и зачем нас везут—этого никто из нас не знал. Нас

(13 человек) разместили на верхней палубе и запретили разговаривать между собой.

Караул на тральщике состоял из русских офицеров-белогвардейцев в английской форме. Опознать их было совсем нетрудно. Обращались они с нами крайне деспотично. Нас называли варварами, немецкими шпионами, изменниками, сопровождая все это площадной бранью и угрожая беспощадно расправиться с нами.

... Тральщик миновал гор. Александровск. Мы подумали, что белогвардейцы направили нас или в Англию, или на какой-либо необитаемый остров, где и покончат с нами. Всю ночь были на палубе. Дул холодный морской ветер, и волны с шумом и ревом катились по палубе. Чтобы не оказаться жертвами бушующего моря, цеплялись за укрепленные на палубе предметы и за борта тральщика. А ветер усиливался и вскоре дошел до 9 баллов. Тральщик бросало на волнах, как пробку. Не раз судно зарывалось носом в волны, и стоило не малых усилий удержаться на палубе. Конвоиры спустились в кубрики, бросив нас на произвол судьбы. Одежда наша перемокла. Многие товарищи, не испытавшие качки, заболели морской болезнью.

На рассвете тральщик причалил к стоявшему далеко в море от печенгских и александровских берегов английскому крейсеру „Кохран". По веревочной лестнице мы поднялись на крейсер. Белогвардейцы передали нас английскому конвою.

На „Кохране" нас заперли в один из кубриков, а у двери поставили часового. Очевидно, не полагаясь на часового, командование крейсера выделило офицера, который обязан был следить за охраной арестованных. Часовые сменялись через каждые два часа. Это были солдаты английской морской пехоты. В железной двери помещения арестованных было квадратное окно, через которое часовой наблюдал за арестованными. Вскоре после заключения на крейсере, нам, пользуясь каждой удобной минутой отсутствия дежурного офицера, удавалось вызывать на разговоры солдат-часовых. К вечеру того же дня к нам было приковано всеобщее внимание английских моряков. В первый же день нашего пребывания на „Кохране" солдаты-моряки, с разрешения и без разрешения дежурного офицера, передавали нам сигаретки, табак, белый хлеб, сгущенное молоко и консервы. При помощи переводчика—одного из английских моряков—между нами и солдатами завязалась продолжительная беседа. Приняв нас сначала за немецких шпионов, моряки вскоре в этом разубедились. Наше происхождение теперь не внушало им никаких подозрений. Русские большевики, о которых так много рассказывали им ложного, оказались обыкновенными людьми, вышедшими из среды рабочих и крестьян. Характерно, что наша беседа с английскими моряками неоднократно происходила в присутствии английского офицера-мичмана, который не прерывал ее.

Вечером следующего дня к борту „Кохрана" подошел катер, на который и перевели нас. Покидая крейсер, мы видели, как все английские моряки, за исключением кочегаров и маши-

нистов, не покидавших своих мест, вышли на палубу корабля и долго приветствовали нас, увозимых в неизвестность.

На катере мы снова попали под охрану белогвардейцев, которая доставила нас в Печеньгу.[1] Здесь на пристани нас встретили английский полковник и около пятнадцати монахов Печеньгского монастыря. Еще не успел начальник конвоя отрапортовать английскому полковнику о прибытии, как монахи с ярой злобой начали осыпать нас бранью, проклятьями, а кое-кто из них — бросать в нас камнями и плевать в лицо. Но арестованные сумели постоять за себя. Один из арестованных, не желая дальше выслушивать оскорбления, так цыкнул на одного монаха, что тот—испуганный—моментально отскочил в сторону и начал креститься. У других монахов тоже отпала охота нападать на арестованных. С пристани конвоиры подвели нас к новому двухэтажному деревянному дому, произвели перекличку и водворили на чердаке дома.

В числе первой группы арестованных, привезенных в Печеньгу, находились бывший начальник кандалакской милиции, бывший председатель Кандалакского Севжедора, стрелок железнодорожной охраны ВЧК, бывший кемский уездвоенком и др. Через два дня в Печеньгу была доставлена вторая группа арестованных в 13 человек. Вновь прибывших также поместили на чердак. В этом же доме, под нами, разместились русские белогвардейцы, поступившие на службу в британские легионы. Арестованным строжайше запретили разговаривать между собой даже шопотом.

Отношение к арестованным было зверское. При малейшем кажущемся нарушении установленных правил арестованных избивали прикладами винтовок. За попытку арестованных к побегу часовому разрешалось стрелять без предупреждения. А выдумать попытку к побегу мог каждый белогвардеец.

На третий день пребывания здесь нас повели за несколько километров от Печеньги на торфяное болото. Следом шла подвода с лопатами. Кроме белогвардейцев сюда явилось несколько английских и сербских офицеров. По распоряжению английских офицеров нас, стоявших в одной шеренге, разомкнули на пять шагов один от другого и, выдав лопаты, заставили рыть впереди себя яму—метр в ширину и два в длину. Арестованные принялись за работу. Многим из нас думалось, что мы роем себе могилы.

Когда ямы были вырыты глубиной в полметра, нам приказали прекратить работу и, не выходя из ям, ждать дальнейших распоряжений. Около четырех часов нас выпустили из ям, построили по четыре человека и отправили в Печеньгу.

13 июля в Печеньгу доставили новую партию арестованных в 25 человек. Помещение чердака становилось тесным. Часть

---

[1] Печеньга — самая северная точка Кольского полуострова, граничащая с Норвегией и Финляндией. Кроме Печеньгского монастыря, здесь поблизости нет никаких населенных пунктов.

вновь прибывших разместили во втором этаже; кроме внутренних постов теперь выставили еще два наружных поста.

Рукоприкладство офицеров-белогвардейцев приняло массовый характер. Избивали заключенных кулаками, прикладами винтовок и даже штыками. Вспоминается один характерный случай. Мы усталые, изнуренные возвращались с работы. Еле передвигая ноги, мы с трудом поднимались по лестнице на чердак. Часовой-белогвардеец торопил заключенных. Он ударил штыком винтовки одного товарища. Штык проколол одежду и вонзился в тело измученного. К счастью, рана оказалась неглубокой и не вызвала заражения крови.

Медицинской помощи арестованным по существу не было. Питание было отвратительное. Кроме сухих галет, изготовлявшихся с примесью костяной муки, арестованным ничего не выдавалось.

Ежедневно с 6 утра и до 8 часов вечера выводили на внешние работы, производившиеся без перерывов на отдых. Сначала заставляли переносить кирпичи с места на место, а потом— руками выкапывать из земли камни и носить за полкилометра. После того как переполненный деревянный дом уже не стал вмещать арестованных, — а количество их непрерывно прибывало,—английский комендант Печеньги приказал построить трудами заключенных тюрьму. Местом для тюрьмы офицеры-„строители“ избрали большую гору. Внутри горы была вырыта глубокая квадратная яма. На врытых в землю (в яме) столбах сделали земляную крышу. Вместо окон была устроена вытяжная труба. Входом и выходом служил узкий земляной коридор. Вокруг тюрьмы — земляная насыпь, огороженная еще двумя рядами колючей проволоки. На постройке тюрьмы ежедневно работало более 50 заключенных; другие подносили доски, кирпичи, камни. Пока тюрьма не была готова, менее благонадежную часть заключенных (25 человек), в том числе и меня, перевели с чердака в старую бездействовавшую печь, в которой когда-то обжигали кирпичи. Эта печь напоминала собой башню с отверстием вверху, через которое к нам поступал небольшой луч света. Земляной пол с просачивавшейся сверху дождевой водой и плесень на стенах — все это делало нашу жизнь в кирпичной печи сплошным мученьем.

В начале августа 1918 года, когда интервенты заняли Архангельск, офицеров-белогвардейцев, охранявших нас, отправили на фронт. Охрана перешла в руки сербских и английских солдат. Мы ожидали, что с уходом белогвардейцев режим для заключенных изменится к лучшему. Однако сербы-интервенты были так же жестоки, как и русские белогвардейцы. Иначе относились к нам английские солдаты. Правда, первое время они были строги, но через несколько дней их отношение к нам стало меняться. Солдаты начали вступать с нами в разговоры, которые потом все более и более сближали нас с ними. Сначала беседы эти затруднялись нашим незнанием английского языка. Пользовались самоучителем и эсперанто. Вскоре в Печеньгу

был доставлен заключенный, высланный из Америки, в совершенстве владевший английским языком. Тогда наши общения с английскими солдатами приняли массовый характер. Нередко даже в присутствии их непосредственного начальника — сержанта произносились зажигательные большевистские речи.

Из тюрьмы-печи нас перевели в приспособленнную под тюрьму конюшню с деревянным полом, с двухъярусными нарами и маленькими окнами, которые были ограждены железными решетками. После кирпичной печи конюшня нам показалась „дворцом“. До нас в этом „дворце“ уже сидело около 70 человек.

По вечерам мы собирались в кружок и беседовали на политические темы: о большевиках, Красной армии и т. д. Беседы продолжались обычно заполночь. Солдаты охраны с большим интересом присутствовали на таких беседах; более того, после смены с постов глубокой ночью они оставались в нашем помещении еще на час-два. А чтобы не быть застигнутыми врасплох своими офицерами, солдаты ставили снаружи, у входной двери, своего человека, который сигнализировал о приходе дежурного офицера.

Так продолжалось, примерно, до половины октября, т.-е. до момента первого побега из Печеньги двух заключенных. Через день бежавших задержали, посадили на семь суток в карцер, а затем снова водворили в тюрьму.

На следующий день после неудавшегося побега солдат караула и дежурного офицера сменили. Новый караул в первое время также строго придерживался жестких правил охраны. Но скоро и он стал общаться с нами.

К концу октября нас перевели во вновь оборудованную земляную тюрьму, которую охраняли смешанные караулы: один часовой—англичанин, другой—серб. Помещение на ночь запирали на замок, и ключ находился у дежурного офицера. Теперь наше общение с солдатами стало совершенно невозможным.

Наступили осенние холода с пронизывающими ветрами и дождем. Внешние работы были приостановлены; не прерывались они лишь на лесопилке, где, как и в деревообделочной мастерской, работали, главным образом, английские солдаты.

В новой тюрьме нам пришлось сидеть недолго. К концу октября 1918 года общее число заключенных превзошло всякие пределы. Часть их за неимением помещений разместили в одном из приделов монастырской церкви.

... Начались массовые заболевания цынгой, которая распространилась не только среди заключенных, но и среди сербских солдат. Солдат отправляли на выздоровление в Мурманск, а мы оставались без какой бы то ни было медицинской помощи.

Первую годовщину Октябрьской социалистической революции (7—8 ноября 1918 года) мы провели в Печеньге. В этот день как-то особенно тяжело было находиться в заключении, да еще в земляной тюрьме, лишенной света и воздуха. Накануне обсуждали, как лучше провести праздник в условиях тюрьмы. Однако кроме коллективного пения революционных песен ничего

не придумали. В этот день после утренней поверки получили обычное суточное довольствие, состоявшее из двух галет и кружки кипятка на каждого. Перед „завтраком“ заключенные сошлись и хором запели „Интернационал“. Услышав пение пролетарского гимна, часовые застучали прикладами винтовок в дверь.

— Прекратите!—приказывали нам.

Но никто не подчинился. Тогда часовые вызвали караульного начальника, который прибежал, угрожая открыть стрельбу; временно прекратили пение, но, как только караульный начальник ушел, пение возобновилось. В этот день караульный начальник вызывался несколько раз. То же повторилось и 8 ноября.

Переполненная печеньгская тюрьма больше не вмещала вновь прибывавших заключенных. Тогда интервенты решили разгрузить Печеньгу. В первой половине ноября они отремонтировали Александровскую тюрьму, куда постепенно начали вывозить наиболее неблагонадежных.

В АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ТЮРЬМЕ

Утро 13 ноября 1918 года. В Печеньге давно уже выпал снег. Темные тучи носились над океаном. Сильный порывистый ветер трепал их, как парус лодки. Волны с ревом катились на берег, далеко забегая в предгорья бухты. На горизонте океана виднелся английский крейсер „Кохран“. Он то поднимался на белые гребни волн, то снова погружался в водное пространство. В 9 часов утра дежурный сержант, два офицера и усиленный наряд солдат вошли в тюрьму. Началась перекличка. По окончании ее сержант вынул из кармана список арестованных и на ломаном русском языке называл фамилии. Внесенным в список двадцати шести заключенным приказал немедленно выйти из помещения тюрьмы с вещами для отправки, как оказалось, в Александровск.

В этой группе был и я.

Попрощавшись с товарищами, мы вышли. Нас отвели в сторону и передали английскому караулу, который отвел нас к пристани и разместил в шлюпки для переброски на тральщик, стоявший недалеко от пристани. Шлюпки сильно бросало, то и дело захлестывало водой. Мы все перемокли, передрогли; ни обуви, ни верхнего платья у большинства заключенных не было, если не считать жалких лохмотьев.

— Эх... Скорей бы умереть!— произнес кто-то со вздохом.

Мороз крепчал и дошел до 25 градусов. Борта шлюпки обмерзали. Минут через сорок шлюпки пристали к тральщику. Окоченевшие, мы с большим трудом поднимались на борт тральщика по веревочной лестнице. Один из заключенных сорвался с лестницы и упал в воду. Стоило больших усилий спасти несчастного.

Но вот тральщик дал сигнал и снялся с якоря.

„Куда везут нас?“—Сержант сказал: „В Александровск“. Но этому мало верили. Ведь не раз бывали случаи, когда интер-

венты и белогвардейцы объявляли заключенному, что его везут в Советскую Россию, а на самом деле над ним учиняли зверскую расправу под предлогом „побега". Так был расстрелян около станции Медвежья-Гора секретарь Энгозерского райпарткома тов. Парахин.

В пути из Печеньги в Александровск арестованные находились на палубе. Холодный морской ветер с брызгами волн, падавших на палубу тральщика, нестерпимо леденил нас. Через несколько часов тральщик свернул в Александровскую бухту, а потом причалил к безлюдной пристани. Видны были одни лишь английские часовые, охранявшие склады и пристань. Хотелось поскорей в помещение, чтобы хоть немного обогреться. Вышли на берег. Началась поверка, после которой нас привели к деревянному бараку, приспособленному под тюрьму. Английский конвой сдал нас итальянскому караулу. После еще одной мучительной поверки нас впустили в холодный барак — тюрьму. Окна барака покрылись толстым слоем льда и промерзшего снега. Снаружи окна опутаны колючей проволокой. Стены настолько промерзли, что через час после топки печей со стен потекла вода. Кроме двух печей в бараке ничего не было — ни нар, ни тюфяков. Страшно было думать, что спать нам, полураздетым, придется на обледеневшем полу.

По ночам в помещении заключенных выставлялся внутренний караул. Были также и наружные посты. Вместе с нами из Печеньги прибыл и провокатор Миневич, роль которого нам стала ясной с первых же дней пребывания в Печеньге. Через неделю из Печеньги в Александровск доставили новую партию заключенных в 80 человек. В помещении тюрьмы становилось тесно. Размещались на полу. Горячей пищи не давали и даже вместо кипятка поили холодной водой. Тем не менее всех нас гоняли на работы в порту — по выгрузке грузов для нужд гарнизона. Часть арестованных гоняли на разделку дров. От работ не освобождались ни полураздетые, ни даже больные. Медицинской помощи—никакой. Баня отсутствовала. Вскоре заключенных стали одолевать паразиты. Их развелось так много, что приходилось сбрасывать с лохмотьев одежды палкой.

Во второй партии заключенных, прибывших в Александровск, был семидесятилетний старик-еврей (имени его не помню), высланный из Англии за сочувствие большевикам. Несчастного быстро свалила цынга, он слег, не двигался и вскоре скончался. Вследствие недоедания началось массовое заболевание цынгой. Из 106 заключенных, находившихся в Александровске, 7 человек уже не вставали на ноги и не двигались. По категорическому требованию заключенных — приостановить заболевания цынгой, интервенты согласились выдавать нам по столовой ложке лимонной кислоты на человека в день. Вместе с тем командование интервентов в Мурманске согласилось выдавать за каждый проработанный день дополнительно две галеты. Дабы не умереть с голоду, каждый из нас старался выйти на работу и получить дополнительный паек.

Чем дальше, тем труднее становилось переносить нечеловеческие лишения. Поэтому, несмотря на усиленную охрану, двое наших товарищей решили бежать, так как им угрожали смертной казнью. Откладывать побег было рискованно,—их могли расстрелять в любую минуту. Группа заключенных-большевиков всесторонне обсудила план задуманного побега и решила помочь товарищам всеми средствами. Бежать наши товарищи могли только через окно, во время утренней оправки. В этот момент наружный часовой, служивший одновременно и выходным, уходил от барака с группой арестованных для опорожнения параши. Вечером группа заключенных отвлекла внутреннего часового, а другая группа, заслонив от часового окно барака, распутала и порвала колючую проволоку. Для маскировки, проволоку в поврежденных местах соединили. Закончив подготовку, заключенные разошлись и легли спать. Провокатор Миневич, во избежание расправы над ним заключенных, к этому времени был переведен в особую загородку и не видел происходившего.

Ночь прошла. После утренней поверки наружный часовой открыл нашу камеру и вывел четверых заключенных с парашей метров за тридцать от барака. Пользуясь кратким отсутствием часового, товарищи подготовились. Внутренний часовой стоял у выходной двери. Группа арестованных, как и вечером, вступила в разговор с часовым, а другая — в пять человек — подошла к окну и заслонила его. Кроме того я поднял одеяло, рассматривая его, чтобы еще больше замаскировать побег. Благодаря таким мерам и спаянности коллектива, двум нашим товарищам удалось вырваться из плена и избежать расстрела. Администрация тюрьмы догадалась о побеге только при вечерней поверке. Поиски бежавших интервентами были тщетны.

После освобождения Севера от белых и интервентов я встретился в Вологде с одним из этих бежавших. Он рассказал, что им в первый же день побега удалось договориться с кем-то из команды буксирного парохода и в качестве кочегаров добраться до Архангельска. В Архангельске они покинули пароход и больше не возвращались на него.

После побега режим в Александровской тюрьме стал еще более жестоким. Караулы были усилены. „Неблагонадежных“ интервенты спешили перебросить в Мурманск, что они и сделали в первой половине декабря 1918 года. В первую партию, отправленную в Мурманск, попал и я. В Мурманске интервенты приспособили под тюрьму линейный корабль „Чесма“, стоявший на рейде.

НА ЛИНКОРЕ „ЧЕСМА“

Линкор „Чесма“ принадлежал к типу старых кораблей, мало пригодных в условиях современного морского боя. Но он оказался пригодным для изоляции „неблагонадежных“ заключенных. „Чесму“ стали заполнять заключенными из печеньгской, александровской и мурманской тюрем. Охрану заключенных на „Чесме“ нес специальный отряд английской морской пехоты. Солда-

там охраны строжайше запрещалось передавать что-либо заключенным и тем более вступать с ними в разговоры. За малейший проступок солдатам предписывалось стрелять в заключенных. Необычайно суровый режим, голод, цынга делали наше пребывание в плову́чей тюрьме невыносимым. Некоторые солдаты охраны сочувствовали и помогали нам. Пользуясь отсутствием дежурного офицера, они передавали нам остатки своей пищи, табак, спички, белье и пр., вступали с нами в разговоры. Мы рассказывали солдатам о Советской России, о большевиках, о задачах мировой социалистической революции.

И без того суровый режим на „Чесме" особенно усилился после побега, совершенного шестью заключенными 27 декабря. По договоренности с русскими матросами, бежавшие товарищи проникли по вентиляционной трубе в кочегарку, переоделись в матросские костюмы, получили старые пропуски, не без содействия стоявших на палубе и у трапа часовых сошли на берег и совершили удачный побег. Командование охраны произвело следствие, но виновных в содействии бежавшим не обнаружило.

После этого побега нам запретили давать горячую пищу. Значительно сократили паек. Теперь выдавали по две галеты с примесью костяной муки и по 200 граммов холодной воды на сутки. Охрану усилили. Вместо одного дежурного офицера ставили трех. Перед вступлением на пост и при сдаче его солдат обыскивали. Общение заключенных с солдатами стало совершенно невозможным.

Через дежурного офицера мы предъявили командованию следующие требования: немедленное предъявление обвинений всем заключенным; ежедневно давать заключенным пятнадцатиминутную прогулку на верхней палубе; увеличить норму суточного довольствия; в случае неудовлетворения этих требований в трехдневный срок заключенные объявят голодовку.

Требования наши остались неудовлетворенными. Тогда мы решили: отказаться от приема пищи, не вставать на поверку и не отвечать на вопросы офицеров и охраны.

На следущее утро, как обычно, на поверку явился дежурный офицер. Заключенные лежали на своих местах. На команду — „встать, построиться" — ответили молчанием. Принесенные галеты и вода остались нетронутыми. В первый день голодовки к нам больше никто не пришел. На следующий день повторилось то же. На третий пришла какая-то комиссия, проверила пищу, осмотрела помещение и, не получив от заключенных ответа на поставленные вопросы, удалилась. К концу четвертого дня голодовки некоторые и без того истощенные товарищи не могли встать с коек. На пятый день один из заключенных, убоясь голодной смерти, пытался покончить самоубийством. К вечеру пятого дня уже никто не мог встать на ноги. На шестой день снова явилась комиссия. Врач освидетельствовал состояние голодавших. Комиссия обещала принять меры... К вечеру нам сообщили: командование находит возможным улучшить наше по-

ложение. Мы прекратили голодовку. К большинству голодавших теперь вынуждены были применить искусственное питание.

Навсегда останется в памяти пребывание на „Чесме" рядом с тов. И. Веселовым, приговоренным к казни. На территории Кольской базы, неизвестно кем, выстрелом из револьвера был убит английский офицер-контрразведчик. В убийстве заподозрели случайно проходившего рабочего порта товарища Веселова и арестовали его. Вечером 23 декабря осужденного, закованного в наручники Веселова привели на „Чесму" и поместили в изолированный кубрик, рядом с нами. Мы узнали о нем утром 24 декабря. Захотелось установить с ним связь, узнать, кто он, за что осужден и т. д. Начали перестукиваться с ним. Но Веселов не понимал нас. Тогда мы взяли кусок шпагата, привязали к нему завернутую в тряпку записку и карандаш; через иллюминатор стали размахивать этим свертком перед иллюминатором кубрика Веселова. Он заметил и поймал сверток. Таким же путем мы получили от него ответ. На обороте нашей записки он писал: „Я Веселов И. Осужден военнополевым судом к повешению, об. уб. англ. офиц.". К сожалению, мы ничем не могли помочь смертнику.

Вечером 24 декабря к Веселову прибыл священник с двумя офицерами и одним штатским. Несколько человек из нашего кубрика бросились к дверям — не удастся ли услышать их разговор? Веселову объявили: командующий войсками утвердил смертный приговор. Поп предложил Веселову покаяться. Но тот категорически заявил священнику, что ему не в чем и не перед кем каяться, так как вокруг него палачи и убийцы, подлые наемники капитала, „в том числе и ты, варвар..."

Дверь кубрика захлопнулась. Мы не знали, уведен ли Веселов, или еще нет. Постучали. Он ответил тем же стуком. Значит еще не уведен. Узнать большего о Веселове нам не удалось. Да и стоило ли надоедать несчастному в последние тяжелые минуты его жизни...

Около двух часов ночи по трапу, соединявшему „Чесму" с транспортным судном, послышались шаги. Заключенные бросились к иллюминаторам. Это шел конвой английской морской пехоты во главе с офицером. Стук каблуков и ружейных прикладов нарушил тишину ночи. Дежурный щелкнул замком и открыл дверь в кубрик смертника. Через замочную скважину до нашего слуха донеслось знакомое „Come out".[1] Не успел смертник перешагнуть порог, как двое солдат скрутили ему руки за спину и одели железные наручники. Снова „Come out", и Веселова повели.

Проходя мимо двери нашего кубрика, он крикнул:

— Прощайте, товарищи! Смерть палачам, наемникам англо-французского капитала!

Кто-то из заключенных ответил ободряюще:

— Не падай духом! За тебя отомстят!..

---

[1] Выходить.

Мы не видели, как умирал Веселов. Но прибывшие на „Чесму“ заключенные рассказывали, что он умер смертью героя. Казнили его недалеко от „Чесмы“, на берегу Кольской бухты. Перед казнью он грубо оттолкнул палача, пытавшегося завязать ему глаза, и сказал:

— Мне не стыдно смотреть на своих палачей!

Когда же Веселову набросили петлю, он крикнул:

— Да здравствует Советская власть во всем мире!

Исполняя приказ офицера,— солдаты, уже по трупу повешенного, дали залп. Трудно сказать, было ли это проявлением зверской ненависти со стороны офицера к повешенному, или желание поскорее отделаться... Звук залпа донесся через открытые иллюминаторы до нас. В эту ночь никто из нас не мог заснуть.

На „Чесме“ мы пробыли с декабря 1918 года до мая 1919 года, когда нас перевели в мурманскую тюрьму. За это время многие из наших товарищей преждевременно сошли в могилу от голода и цынги, а дождавшиеся освобождения от ига белогвардейцев и интервентов навсегда утратили свое здоровье.

ПОБЕГ ИЗ МУРМАНСКОЙ ТЮРЬМЫ

Мысль о побеге из белогвардейского плена не покидала нас с первого дня ареста. Но условия тюремного режима в Печеньге не позволили осуществить побега. Ждали более удобного случая, который представился только весной 1919 года, когда нас перевели в мурманскую тюрьму и стали выводить на работы. 29 мая заключенных нашей камеры вывели на работу по очистке двора английского военного госпиталя. Нас разбили по 5—6 человек и к каждой группе приставили конвоира из англичан. Во время работы наш конвоир отошел к стене соседнего помещения. Воспользовавшись отсутствием его, я и товарищи С. и Н. бросились бежать. Перед нами простирались топкие болота с мелкими кустарниками и высокими кочками. Под тающим снегом стояла вода. Ноги промокли выше колен... Скоро я выбился из сил и упал. На помощь подоспел товарищ, который ползком увлек меня за собой. Но вот ко мне вернулись силы, и мы, взяв направление на север, снова бросились бежать, пока не укрылись за ближайшей скалой. К вечеру первого дня ушли далеко в лес, затем направились вдоль Кольского залива. В двенадцати километрах от Мурманска наткнулись на морской пост, который, как оказалось, имел склад для снабжения тральщиков рыболовным имуществом. Товарищ вспомнил, что ранее тут работал один из его знакомых. Соблюдая предосторожность, решили проверить. Оказалось, земляк продолжает службу на этом посту. Мы попросили его оказать нам содействие. Тот принес нам около двух килограммов белого хлеба. При встрече на следующий день он сообщил нам, что ночью, после нашего побега, на пост к ним явилось несколько конных контрразведчиков, которые произвели тщательный обыск и сказали, что они разыскивают трех бежавших из тюрьмы. Контрразведчики уехали

обратно несолоно хлебавши. При помощи этого же моряка мы установили связь с мурманскими рабочими.

Но остаться в Мурманске на нелегальном положении мы сочли невозможным. Решили во что бы то ни стало проникнуть через фронт в Советскую Россию. К вечеру следующего дня я получил от товарища П., с которым хорошо познакомился в тюрьме, и от других мурманских работников два мешка продуктов, ружье винчестер с 75 патронами и 600 рублей. На четвертый день побега, минуя Мурманск, мы двинулись в южном направлении в дальнейший путь. Без компаса итти в необжитой лесной местности опасно. Поэтому мы решили придерживаться линии железной дороги, держась направления на Петрозаводск. Дошли до реки Колы — в десяти километрах от Мурманска. Неприветливо встретила нас Кола. Железнодорожный мост охранялся интервентами. Без пропуска пройти через мост было немыслимо. Свернули в лес и стали разыскивать средства переправы. Долго шли пустынным берегом Колы, но ни лодки, ни плота не нашли. Решили соорудить плот. Топора, веревок или гвоздей у нас не было. Нашли вершину срубленного дерева, обрубок метров в пять, поленницу дров и все это принесли к берегу. Для скрепления плота использовали веревки наших двух мешков с продуктами, оборвали рубцы подолов своих рубах. Дрова послужили настилом плота. При всех трудностях плот все же сделали. Не без приключений, но благополучно переправились на плоту через Колу. Разложили костер, обогрелись, обсушили одежду и пошли дальше.

Первые четыре ночи провели без сна, укрываясь днем в расщелинах скал. За ночь, после переправы через реку, мы прошли более двадцати километров. Главная опасность как будто миновала. Теперь можно отдохнуть. Под утро вблизи железной дороги наткнулись на пустующий барак. Убедившись, что вокруя никого нет, поднялись на чердак и крепко заснули. Отдохнув, двинулись в дальнейший путь. Через два дня нам пришлось переправляться через речку шириной в 7 метров. Притащили на берег вершину срубленного дерева и перекинули ее через русло речки. При переходе по дереву я зацепился за сук, свалился в воду и утопил ружье. С трудом извлекли ружье из воды и пошли дальше. Мы всячески избегали встреч с людьми. Поэтому шли по ночам, а днем укрывались и отдыхали. Путь наш то уклонялся к финской границе, то выходил на побережье Белого моря. Позади—около 300 километров, пройденных в исключительно тяжелых условиях. Чтобы пройти это расстояние, нам понадобилось 13 дней. Запас продуктов подходил к концу. Вот уже второй день, как мы ничего не ели...

Позади остались Мурманск, станция Хибины (ныне гор. Кировск), а затем станция и озеро Имандра. Желая сократить путь, мы пошли по направлению на Кандалакшу, где до ареста я имел товарищей по работе и всегда мог рассчитывать на их помощь. Но до Кандалакши нужно еще итти двое суток, а уже наступал третий день нашего голодания...

Выбившись из сил, мы прилегли отдохнуть и, не выставив дежурного, заснули. Сон наш прервался шорохом и хрустом ломавшихся прутьев. Что бы это? В четырех-пяти метрах от себя увидели оленя. Спутники предложили мне убить его. Я вскинул ружье. Но потом, к удивлению товарищей, опустил его, так как увидел на лопатке оленя тавро „Р". Очевидно он принадлежал какому-либо бедняку.

Пройдя еще километра три, набрели на избушку лопаря, к которой привлек нас лай собаки. Вышел хозяин избушки. Мы подошли к домику и после обычных приветствий попросили хозяина дать нам чего-нибудь поесть. Хозяин плохо владел русским языком, но отлично понял, чего мы хотим. После обычных расспросов гостеприимный хозяин достал порядочный кусок оленьего мяса и поджарил его на огне. Насытившись, мы предложили хозяину деньги, но он наотрез отказался взять вознаграждение. Поблагодарили его за гостеприимство и пошли дальше. На рассвете следующего дня вышли на линию железной дороги, у разъезда около станции Нива. Подвигаясь около дороги, мы нашли три круга телеграфной ленты. Никто из нас не знал азбуки Морзе, и поэтому не могли прочесть содержания ленты. Решили использовать ленту для агитации среди железнодорожных рабочих, которые неподалеку ремонтировали путь. На кусках ленты писали большевистские лозунги с призывом к свержению интервентов и белых. Лозунги развесили на сучья деревьев, вдоль полотна дороги. Отойдя несколько, мы увидели, как группа рабочих, увидев ленту, подошла к ней; затем один из них осторожно снял, прочитал написанное и спрятал в карман.

Не доходя до Кандалакши, наш товарищ Н. выразил желание пойти к своим родным, проживавшим вблизи от финской границы, и там ожидать прихода красных. Мы не возразили и распрощались с ним.

... Вот мы и в Кандалакше. Последний раз я был здесь более одиннадцати месяцев тому назад. Находясь в тюрьмах, я не мог знать, что происходит с моими товарищами в Кандалакше. Воспользовавшись адресом, мы зашли в квартиру жены арестованного товарища И. Женщина очень хорошо нас встретила и подробно интересовалась, как нам удалось освободиться из плена и каторги, где ее муж и что с ним...

Весь день провели в ее квартире. Здесь состоялась моя встреча с товарищем, работавшим в то время в железнодорожном депо. Товарищ сообщил о нас единомышленникам, а к вечеру состоялось нелегальное собрание нашей большевистской группы.

Один из участников собрания, кондуктор железной дороги, высказался за немедленное вооруженное восстание в Кандалакше, рассчитывая на поддержку рабочих. Но это предложение было необоснованно, преждевременно, так как сторонники советской власти в Кандалакше имели всего-на-все два револьвера и четыре винтовки, тогда как здесь же стояло более двух рот

вооруженных до зубов интервентов. Мы разубедили кандалакских товарищей и посоветовали им готовить силы для более серьезного удара по интервентам во время их отступления: поджечь мосты и кое-где разрушить полотно железной дороги. Частично это и сделали кандалакские товарищи, оказав помощь Советской республике.

Товарищи достали нам продуктов на дорогу и проводили из Кандалакши через мост Беломорского залива. Теперь мы шли к станции Кемь. Ее пришлось обходить, так как на железнодорожном мосту через реку Кемь стояли часовые интервентов. Намереваясь войти в село Поддужемье (в 19 км от ст. Кемь), мы заблудились в болотах. К несчастью, скоро наступила ночь. У нас не осталось ни грамма хлеба. Последний день прожили голодом, и ночевка на болоте была безотрадна.

На следующий день вышли на берег Кеми. До села Поддужемья добрались на рыбацкой лодке, в которую нас посадили плывшие две крестьянские девушки. На пути в Поддужемье в лодку попросился какой-то карельский солдат с винтовкой. Нам не хотелось, чтобы он сел в лодку, но девушки опознали в нем своего соседа и взяли его. Солдат оказался не из любопытных. И, как только мы добрались до села, он ушел от нас. В Поддужемье нас встретил хозяин лодки, отец девушек, и пригласил в свой дом с вывеской „Земская станция". Сначала этот прием не внушал подозрения. Хозяин распорядился согреть для нас самовар, а сам тем временем вышел из дому. Через 10—15 минут он вернулся... с милиционером. Тот потребовал наши документы. Я подал проходное свидетельство, добытое на ст. Энгозеро на имя освобожденного из тюрьмы некого Типикина, а товарищ С. дал удостоверение на английском языке с его фотокарточкой о том, что он, заподозренный в большевизме, высылается из Англии в качестве арестованного в Северную область России. Документы эти у нас отобрали для предъявления английскому коменданту. Милиционер отправился к коменданту—английскому офицеру, а хозяину дома приказал наблюдать за нами.

Понимая опасность положения, мы вышли из дома и бросились бежать по дороге на Кемь. Погони не было. Скрылись в лес и на рыбацкой лодке перебрались через реку Кемь.

Голод давал себя знать. Двое суток мы ничего не ели. Грибов и ягод в лесу еще не было. На третий день добрались до разъезда вблизи ст. Сорока и при помощи одного железнодорожного рабочего купили килограмм хлеба. Пройдя второй разъезд после ст. Сорока, взяли направление на Сумский посад. Фронт белых по железнодорожной линии находился у ст. Медвежья-Гора. Красная армия теснила врага в этом направлении, и поэтому белоинтервенты сосредоточили здесь главные силы. Мы узнали, что на онежском участке фронта наступило временное затишье, и заключили, что в этом месте нам легче проникнуть через фронт в Советскую Россию.

На сороковой день после побега из Мурманской тюрьмы мы прошли 900 километров и добрались до села Подпорожья.

В 40 километрах отсюда—фронт. Через два дня мы могли быть в Советской России.

Но случилось иное. В Подпорожье мы зашли в один дом, чтобы достать продуктов. Через несколько минут в дом вошли два вооруженных милиционера, арестовали нас. К вечеру того же дня нас доставили в Онегу и водворили в уездную тюрьму, а через два дня отправили в Архангельск.

10 июля 1919 года привезли нас в Архангельск и доставили в контрразведку. Принял нас начальник контрразведывательного отделения Чайников. Перед допросом он набросился на нас с кулаками, угрожая расстрелом. Он принял нас за советских разведчиков, пойманных в полосе военных действий, и поэтому был чрезвычайно жесток. Ни обыск, ни допрос с избиениями не дали Чайникову нужных ему результатов. На вопрос Чайникова: „Кто вы?“—мы ответили:

— Рабочие Мурманской железной дороги, работали на 8-м участке пути у инженера Тимофеева.

Инженера Тимофеева я знал еще до ареста и, не полагаясь на его лойяльность, указал это для того, чтобы выиграть время. Чайников задал еще несколько вопросов. Мы ответили, не выдав себя.

Затем он приказал отправить нас в тюрьму. В Архангельской губернской тюрьме нас посадили в 27-ю одиночку, являвшуюся камерой смертников, о чем красноречиво говорили даже ее стены.

Через два дня вызвали на допрос к следователю, у которого мы подтвердили показания, данные в контрразведке. После этого допроса нас перевели в 11-ю одиночку, куда на следующий день посадили шпика, заставлявшего нас постоянно быть настороже. Шпик пробыл с нами неделю, потом его убрали от нас под предлогом перевода в другую камеру.

В дни решающих побед Красной армии над Колчаком мне, как и сотням других товарищей, пришлось сидеть в застенках Архангельской губернской тюрьмы. Вести о поражении Колчака и победах Красной армии дошли и до нас, заключенных. Иногда эти вести передавали нам некоторые из благосклонных к нам младших надзирателей тюрьмы, а чаще всего из газет, попадавшихся нам в виде оберток передач, или из газетных обрывков, добываемых в мусорных ящиках.

Наказание карцером в тюрьме было введено в систему. В карцере стоял вечный холод, сырые стены его были покрыты плесенью. В карцер сажали заключенных в одном белье. Пробывших в темном карцере 14 суток выводили (чаще всего выносили) оттуда тяжело больными. Товарищи по камере рассказывали мне, что двое заключенных, отсидевших в темном карцере 14 дней, были выпущены психически больными. Мне тоже пришлось пробыть в карцере трое суток за то, что во время оправки камер я, проходя коридором, подошел к дверному очку соседней камеры и перекинулся парой слов с сидевшими там моими товарищами.

ВЫСТРЕЛЫ НА МХАХ

Архангельская контрразведка поставила своей целью—во что бы то ни стало выловить и расстрелять всех, кто даже словом посмеет критиковать „северное правительство“, тем более — игнорировать его распоряжения, и не будет уважать англо-французское командование. Вскоре на почве „неуважения к союзникам“ начались массовые аресты и расстрелы. Характерен случай с арестом и расстрелом товарища Мальцева-Николаенко. 16 июля 1919 года около четырех часов дня в нашу камеру впустили новичка, одетого в матросскую летнюю рубашку. Это был украинец Мальцев-Николаенко, по профессии часовых дел мастер, немного занимавшийся живописью. Несколько последних лет он прожил в Архангельске.

Вот что рассказал нам Мальцев об аресте его. Незадолго до ареста, около 12 часов дня в его квартиру вошли двое англичан. Один из них—полковник, другой—сержант. Сержант сказал Мальцеву, что полковник хочет приобрести копию картины „Лунная ночь в окрестностях Петербурга“, висевшую в квартире Мальцева. Хозяин ответил, что продать картину он не может и скопировал ее для себя. Полковник предложил за картину любую цену. Мальцев не согласился. Полковник со злобой швырнул недокуренную сигару и вышел из квартиры. Через час на квартиру к Мальцеву пришли два контрразведчика и арестовали его. Контрразведка обвинила Мальцева в сочувствии большевикам и заключила его в тюрьму.

Через сутки, ночью с 17 на 18 июля, когда мы легли спать, в коридоре тюрьмы послышались шаги вошедших солдат и стук прикладов. Обычно такие посещения тюрьмы солдатами сопровождались расстрелами кого-либо из заключенных.

Щелкнул замок нашей камеры. На пороге появился помощник начальника тюрьмы со старшим надзирателем Мамаем и группой солдат. Никто из нас не знал, чья сегодня очередь, но каждый отлично понимал, что без расстрела не обойдется. Помощник начальника тюрьмы назвал фамилию Мальцева. Тот быстро проснулся и на приказ—одеваться—недоуменно спросил:

— Куда?

Помощник начальника тюрьмы издевательски ответил:

— Разве не знаешь, куда водят в 12 часов ночи?..

При выходе из камеры Мальцев громко произнес:

— Прощайте, товарищи!

Оставшиеся дружно ответили ему:

— Прощай, товарищ Мальцев!

Проходя по коридору, Мальцев повторял прощальные слова против каждой камеры.

Его ввели в тюремную контору, где заседал военно-полевой суд. Не прошло и 20 минут, как его вывели из конторы с закинутыми за спину руками в наручниках, втолкнули в автомобиль и вывезли на Мхи. Вскоре до нас отчетливо долетел сначала залп винтовок, затем два одиночных револьверных выстрела.

Так погиб ни в чем не повинный человек, наш товарищ Мальцев-Николаенко.

20 июля в тюрьме был день передач. К воротам тюрьмы подошла сестра товарища Мальцева с передачей и заняла очередь. Тюремный надзиратель, зная, что ее брат расстрелян два дня тому назад, все же передачу принял. Через три дня Мальцева снова пришла к тюрьме. На этот раз надзиратель заявил, что принять передачу не может, так как Мальцев выслан в „Совдепию". Впоследствии сестра разыскала могилу брата. Она просила разрешения похоронить расстрелянного на общем городском кладбище, но белогвардейские власти отказали и в этом.[1]

---

[1] Позже автор этих воспоминаний был брошен белоинтервентами в каторжную тюрьму на Мудьюге, где он был с 22 августа по 26 сентября 1919 года. Затем снова был водворен в Архангельскую тюрьму, из которой освобожден после разгрома белоинтервентов в феврале 1920 года.

А. Потылицын

ИОКАНЬГА

После восстания и побега каторжан с Мудьюга белогвардейское правительство „социалиста" Чайковского было озабочено выбором места для новой каторжной тюрьмы, откуда бы возможность побега исключалась. Предполагали открыть тюрьмы на островах Анзерском и Кондо (в Онежском заливе Белого моря). Был даже изготовлен штамп начальника Кондоостровской тюрьмы, но выбор пал на заброшенное, мало кому известное становище на Мурманском побережье—Иоканьгу. Бежать с Иоканьги было невозможно. Расстояние от нее до ближайших населенных пунктов равно, примерно, 280 километрам болотами, без всяких дорог.

Невольно попавший на Иоканьгу, брошенный сбежавшим Миллером, член белогвардейского „правительства" Б. Соколов, который, разумеется, не повинен в гуманном отношении к большевикам, написал об Иоканьге: „При самом выходе из горла Белого моря на Мурманском берегу—бухта. Кругом голые скалы, ни одного деревца. Постоянные неистовые ветры. Все это заставляло издавна людей избегать этих, как они называли, проклятых богом мест. Действительно, трудно представить себе картину более безотрадную, наводящую свинцовую тоску на душу, чем Иоканьгская бухта. Земля здесь особенная, скалистая, и даже в летние месяцы только слегка отогревается солнцем. На сотни верст—никакого селения... Здесь никогда не было селения, да и невозможно оно по местным климатическим и географическим условиям".[1]

Белогвардейской своре, поставившей себе целью уничтожить так ненавистных ей большевиков, было хорошо известно, что представляет собой Иоканьга. К невыносимым условиям пребывания на Иоканьге белогвардейцы добавили измор заключенных голодом. Голод содействовал развитию цынги, дизентерии. Штат администрации иоканьгской каторги был укомплектован набившими на своем деле руку особо-зверскими тюремщиками. Начальником каторги был назначен известный палач Судаков, о котором тот же Б. Соколов отзывается, как о „личности безусловно ненормальной...". „Бывший начальник Нерчинской каторги,—пишет Б. Соколов,—он, очевидно, оттуда принес все

[1] Гражданская война в Сибири и Северной области. Стр. 367.

свои привычки и навыки. Он находил какое-то особое удовольствие в собственноручных избиениях арестантов, для каковой цели всегда носил с собою толстую дубину... Пользуясь отдаленностью Иоканьги от Архангельска и тем, что никакого контроля за ним не было, он самым беспощадным образом обкрадывал арестантов на и без того скудном пайке".

Первая партия в 360 каторжан была доставлена на Иоканьгу 23 сентября 1919 года. Всего за осень 1919 года на Иоканьгу было брошено 1200 заключенных. Сюда попали заключенные ликвидированной Мудьюжской каторги, из губернской тюрьмы, арестованные в прифронтовой полосе и пр. Состав заключенных был самый разнообразный. Среди них были коммунисты, сочувствующие советской власти или обвиненные в этом, дисциплинарники, уголовники и, как необходимые, больше десятка провокаторов, список которых нашли у Судакова при его аресте.

В первое время, по прихоти Судакова, вечерние поверки происходили на улице, причем каторжан заставляли разуваться. Одетые в лохмотья люди стояли при пронизывающем осеннем ветре на подостланных под ноги портянках, а в это время их начальник Судаков давал свои поучения: „Я вам здесь царь и бог... что захочу, то и сделаю... Мне власть дана такая..." И, указывая пальцем вверх, добавлял: „А отвечаю я только пе-ред все-выш-ним!"

Как и на Мудьюге, тюремные бараки на Иоканьге строились силами самих заключенных. За отсутствием строительных материалов сначала были сооружены барак из фанеры и несколько осыпанных щебнем землянок. Земляной пол, сырые стены, крохотные окна с выбитыми стеклами и щели, предоставлявшие простор сквознякам, делали землянки похожими на отогретые ледники. Впоследствии заключенных перевели из землянок во вновь отстроенный барак. Но и тут оказалось не лучше. Те же скученность, грязь, сырость, зловоние растекающегося по полу содержимого параши. Мерзлые бревна стен барака оттаивали, со стен текло, а отопления не полагалось.

Если на Мудьюге был исключительно голодный паек, то на Иоканьге питание каторжан было поставлено так, чтобы заключенных уморить голодом. Заключенному давали на сутки 200 граммов непропеченного хлеба и по консервной банке тепловатой жижицы—подобия супа. Вместо чая ставился ушат кипятку.

На работы, дававшие возможность заключенным вздохнуть свежим воздухом, наряжались только дисциплинарники. Остальные находились взаперти, обреченные на томительное безделье в условиях полярной ночи. Не иначе, как для ускорения заболевания заключенных цынгой, им приказывалось лежать без движения по 18 часов в сутки. Никакие движения и разговоры за 18-часовую ночь не допускались. Малейший шорох или шопот, услышанные стражей, давали повод открывать по заключенным стрельбу из винтовок и пулеметов. В такие ночи особенно тягостным было ожидание вошедших в систему обысков с жестокими избиениями. В избиениях заключенных наибольшее усердие проявлял сам начальник каторги Судаков, а подхалимы—его

подчиненные старались не отставать от своего начальника. Врываясь среди ночи в барак с ватагой стражников, Судаков пускал в ход свою дубину, револьвер кулаки, окованные сапоги. Площадная брань Судакова и стражи, стоны истязуемых, свист судаковской дубины, удары прикладами создавали впечатление какого-то чудовищного бреда наяву. Избиения порождали новые жертвы. Так, например, секретарь Савинского волисполкома В. С. Фомин, сваленный ударами с ног, был растоптан насмерть Судаковым, а в рапорте Судакова начальству значится, что Фомин умер от цынги. В ночь на 7 ноября 1919 года пьяный палач Судаков решил учинить расправу над политзаключенными, помещенными в фанерных бараках. И что же? Он построил перед тюрьмой в цепь вооруженную банду и подал команду: „По уровню нар пальба!“ Команда была выполнена. Не ограничившись первым залпом, Судаков снова скомандовал: „Стреляйте еще в подлецов!“ Стрельбу прекратил один из помощников Судакова. Ворвавшись в тюрьму, Судаков выпустил обойму из револьвера в стонавших раненых. В этом диком побоище было убито и ранено много политзаключенных.

Наиболее кошмарным на Иоканьге было пребывание заключенных в карцере, под который был приспособлен заброшенный ледник. Посаженным в карцер не давали ни горячей пищи, ни одеял. Спать было можно только на голой земле. Неудивительно, что редкие из каторжан выдерживали отсидки в карцере, и часто по утрам надзиратели, вместо живых людей, обнаруживали там окоченевшие трупы. Да и в самой тюрьме просыпавшиеся по утрам заключенные находили рядом с собой умерших от цынги, дизентерии или истощения. „Если бы мне кто-нибудь рассказал о нравах Иоканьги,—пишет тот же Б. Соколов,—то я бы ему не поверил. Но виденному собственными глазами нельзя не верить“.

Людей, истощенных голодом, измученных побоями, стала подхватывать дизентерия. Бич полярных и приполярных стран — цынга вырывала одну жертву за другой. Если на Мудьюге, хотя и для вида, был доктор, то в иоканьгской каторге был лишь один фельдшер, прозванный за свою осведомленность в медицинской науке „коновалом“. То ли из-за отсутствия лекарств, то ли изза незнания их „коновал“ прописывал больным одно лекарство: жженый и истолченный в порошок хлеб. Лазарет с несколькими койками обслуживал только незначительную часть больных, да и лечения там, кроме того же „порошка“, не было. Основная масса больных оставалась в общих бараках. Цынготные с распухшими ногами, кровоточащими деснами лежали между товарищами, еще не потерявшими способности двигаться самостоятельно. Впоследствии некуда стало убирать и больных дизентерией. Они оставались вместе со всеми, заражая других. Воздух тюрьмы, отравленный испарениями сотни тел и сорокаведерной параши, теперь отравлялся еще запахом заживо гнивших людей. Наибольшая смертность была в цынготной камере лазарета. Туда ежедневно наряжалась партия каторжан для уборки трупов.

Мертвецкой служил полуразрушенный сарай. За короткое время там скопилось до 70 трупов, которые валялись словно беспорядочная куча дров, занесенных снегом. Куча пополнялась вновь приносимыми трупами. Заключенных, приносивших трупы в мертвецкую и не желавших ступать по телам умерших товарищей, конвойные гнали пинками, прикладами, площадной бранью: „Ступай смелее... Жалеешь, сволочь, своих... Сам тут будешь...“

Каменистая, скованная морозом, земля Иоканьги не принимала мертвых. Для братской могилы пришлось приспособить заброшенный погреб. К концу Иоканьгской каторги в братской могиле лежало 172 трупа, а всех умерших и убитых было более 250 человек.

Таким образом, около 80 заключенных Иоканьги „пропали без вести“. Это „таинственное“ исчезновение 80 заключенных постепенно вскрывается. Через два года после изгнания белогвардейцев, в 1922 году, рабочими, ремонтировавшими Иоканьгскую радиостанцию и маяк, обнаружено пять скелетов, зарытых во мху...

Исключительный по своей жестокости режим, голод, эпидемии, очень слабая надежда пробраться за сотни километров фронтовой полосы по болотам до Советской России,—не остановили решимости заключенных вырваться на свободу. Наиболее твердые, сильные духом поставили целью — во что бы то ни стало пробиться к Красной армии или умереть свободными. Иного исхода не было.

В ноябре создается инициативная группа, пришедшая к выводу, что для побега есть только один путь, как и на Мудьюге,— восстание.

Подготовка к восстанию и побегу велась интенсивно; нашлось много сторонников, но все оказалось напрасным. В землянке, где организовалась инициативная группа, нашлись предатели— Коробов, Шишков и другие, которые донесли о намечавшемся побеге. Усилился надзор, побег пришлось отложить.

И все же через некоторое время попытка повторилась. В одной из землянок некто Габасов повел подкоп. Как и в первый раз, о подкопе донесли, администрация заметила оседавшую снаружи землю.

После раскрытия подкопа 12 заключенных, входивших в инициативную группу, были изолированы в отдельном бараке, где Судаков с отрядом конвоя избил их до потери сознания. Конвойным Судаков приказал: „Без моего разрешения ни пить, ни есть им не давать. Пусть дохнут с голоду или замерзают. При малейшем шорохе открывайте по ним стрельбу“.

На счастье инициаторов побега, предатели не узнали, в чьих именно руках находилось руководство подготовкой восстания. На допросах их никто не выдал, и благодаря этому обстоятельству дело обошлось без расстрела.

В январе—феврале 1920 года, в связи с начавшимся поражением белых, режим Иоканьгской каторги несколько смягчился;

но уже было поздно. Большую часть заключенных захватили цынга, дизентерия, а не заболевшие еле передвигались от истощения. Судаков приутих, а заключенные, не получая никаких известий с воли, стали догадываться, что положение белых окончательно пошатнулось, и развязка близка.

20 февраля 1920 года радио принесло долгожданную весть: в Архангельске Советская власть, Миллер бежал.

Бывшие каторжане арестовали свою стражу и избрали Иоканьгский исполком.

Освобождение заключенных и арест стражи, в том числе и Судакова, прошли организованно; стражу не тронули, оставив до суда.

Несмотря на ряд настойчивых телеграмм Иоканьгского исполкома, ни Архангельск, ни Мурманск ни могли дать судов для вывоза бывших заключенных. Наконец через 10 дней ожидания на Иоканьгу пришло два парохода из Мурманска. Прибыл и медицинский персонал с медикаментами.

За десять дней ожидания иоканьгцы пережили многое. Цынга стала захватывать поголовно всех. Несмотря на хорошее питание и заботливый уход товарищей, смерть продолжала вырывать по 7—9 человек ежедневно.

80—90 заключенных, уже дождавшихся свободы, навсегда остались на Иоканьге, многие умерли в пути и в лазаретах.

Насколько велика была смертность в последние дни до освобождения, показывают кошмарные цифры, сообщенные 26 февраля телеграммой Иоканьгского исполкома в Архангельск:

„... Сообщаем, как часто мы производим похороны. 7/2 (7 февраля) похоронили 36; 9/2 хоронили 14; 13/2 хоронили 8; 16/2 хоронили 12; 20/2 хоронили 16; 25/2 хоронили 21, и к 8 часам вечера померло еще 4 человека... Процент умирающих увеличивается, так же, как процент заболеваемости... Наверное скоро дойдет до того, что некому будет варить пищу и доставлять дрова. По сведениям фельдшера, кандидатов на братскую могилу сто двадцать три человека, которые умирают каждый день, кроме этого еще имеется больных около 280 человек, чуть шевелящих руками...“

Только 1 марта 1920 года на Иоканьгу пришли ледоколы „Русанов“, „Сибиряков“ и „Таймыр“, забрали иоканьгцев и доставили их в Мурманск.

Рабочие Мурманска торжественно встретили освобожденных и проводили умерших, так как за суточный переход с Иоканьги до Мурманска умерло еще 24 человека.

Из Мурманска больные иоканьгцы разъехались по домам, причем в лазаретах города, где они останавливались, оставались умершие. Не помогали ни медицина, ни заботливый уход друзей.

Часть освобожденных из менее больных выехала в Архангельск морем.

Тем же путем увезли сто арестованных бывшего гарнизона и администрации Иоканьги.

Последняя и самая страшная тюрьма белых и интервентов— Иоканьга была ликвидирована.

БЕЛЫЙ ТЕРРОР В УЕЗДАХ

Для заключенных в губернской тюрьме создавалась некая видимость „законности“ их заключения. Иное положение было в уездах, особенно в фронтовой и прифронтовой полосах. Там вся полнота власти, право „казнить и миловать“, сосредоточивалась в руках какого-нибудь офицеришки, проводившего классово-буржуазную линию,—арестовывались исключительно беднота и середняки. Деятельность поставленных интервентами к власти в Архангельске эсеров в уездах была точным отражением „деятельности“ правительства Северной области.

На другой же день после прихода англичан в Онегу там создалась уездная следственная комиссия из эсеров и кадетов в составе бывшего исправника Донейко, начальника уездной полиции Хайна, Душина, кулаков Можайцева, Ильина, Михайлова. Комиссия сразу взялась за восстановление собственности заводчиков, купечества и прочей буржуазии, направляя виновных в контрразведку.

К тому же времени относится организация „уездного народного совета“ из представителей буржуазной интеллигенции и кулачества, по партийности—эсеров и кадетов.

Несколько сохранившихся документов подтверждают предательскую деятельность Онежского „народного совета“. Согласно одному документу, в ночь с 21 на 22 сентября 1918 года в Онеге было арестовано 17 человек, из них 6 служащих, 7 рабочих, 4 человека без указания социального положения. О служащих „народный совет“ отваживался давать самые „лучшие“ характеристики: „Служащий, не большевик, придерживается союзнической ориентации“, а о рабочих коротко: „В политику и военные дела не вмешивается“, или: „О деятельности его Совету неизвестно“, словом, „народный совет“ тут умывает руки. Против фамилий четырех по списку дано общее заключение: „Подлежат безусловному задержанию“.

Даже относительно своих коллег по партии—чиновников—у членов совета нехватало смелости требовать освобождения из-под ареста. „Народный совет“, обивая пороги офицеров английской службы, только просит содействия, выдавая свою связь с союзниками и их контрразведкой.

Классовый буржуазно-кулацкий, с добавлением чиновников царского времени, состав подобных „народных советов“, земских управ, строго выдержанная классовая политика этих учреждений, направленная в интересах буржуазии и кулачества против рабочих и бедняцко-середняцкой части деревни,—наглядно доказали трудящимся сущность белогвардейщины и истинные цели интервентов.

Буржуазия и кулачество поддерживали свою власть не одними призывами к борьбе с большевиками. Весь командный состав белой армии состоял из старого кадрового офицерства, причем недостаток кадровых офицеров пополнялся буржуйскими и кулацкими сынками, наскоро обученными в специальных школах.

Сынки эти боролись за „родину“, а их папаши собирали деньги для военных целей. Генерал Миллер 26 августа 1919 года особым приказом главнокомандующего поблагодарил, как записано в приказе, „торгово-промышленный класс“ гор. Холмогор, пожертвовавший 20000 рублей. Такие же пожертвования были и в Архангельске.

Восстановив против себя бедняцко-середняцкую массу, белогвардейцы в страхе за свое существование хватали направо и налево не только коммунистов, членов исполкомов, сочувствующих советам, но переполняли тюрьмы и арестные помещения арестованными и за то, что их в чем-то „подозревали“, или на них кто-то донес, стараясь угодить начальству.

В сведениях—анкетах о препровождении в губернскую тюрьму, в графе—„За что арестован“—стоит краткое обозначение: „За большевизм“. В чем именно проявлялся большевизм арестованных—это, видимо, считалось не столь важным, были бы арестованные.

Сплошь и рядом одно неосторожно брошенное слово уже служило достаточным поводом к аресту с препровождением в контрразведку. Например, командир I Северного белогвардейского полка Трояновский препровождает в Архангельскую тюрьму арестованного крестьянина Мезенского уезда Остапова. В материалах на Остапова приводится характерное обоснование причины ареста: „За разговоры большевистского характера“. Некто Кабалкин арестован „за речь в бане“, крестьянин Корнилов—за то, что был избран в комитет бедноты. В с. Шелексе в числе 13 крестьян был арестован крестьянин-бедняк Фуртиков Василий, только что вернувшийся из германского плена, лишь за то, что при занятии белыми Шелексы после боя перевез через речку свою семью. Фуртиков попал на Иоканьгу, откуда, как и большинство (из 13 человек) его односельчан, не вернулся.

Переход из деревни в деревню, пребывание на работе в поле, в лесу, по хозяйству сплошь и рядом служили поводом к аресту, с отправкой на Мудьюг, Иоканьгу. Большая часть арестованных, оставшихся после тюрьмы и каторги в живых, до сих пор не знает, за что они сидели, за что их соседи расстреляны на Мхах, на Мудьюге, Иоканьге или где-нибудь в лесу.

Для примера приведем выдержку из одного документа по материалам Онежского уезда, собранным после разгрома белых. Штамп Пияльского волисполкома. 18 мая 1920 г.

„Пострадавшие от белогвардейцев:

1) Шеметов Илья Ст., 55 лет. Расстрелян солдатами белой армии.

2) Углова Марфа Федоровна, 50 лет. Расстреляна.

Оба—граждане дер. Кялованги, Пияльской вол., женат и замужняя, при каких обстоятельствах и как расстреляны, никто не видел“.

Н. Костылев, крестьянин Ровдинской волости, Шенкурского уезда, подвергся аресту и избиению за то, что его сыновья служили в Красной армии. Старик Л. Л. Заговельев из деревни

Керьга был арестован, избит в контрразведке шомполами, будучи привязан к грядке вверх ногами, и заключен в Архангельскую тюрьму за то, что показал красным партизанам дорогу и сыновья его ушли в Красную армию. Белогвардейский отряд из жителей с. Благовещенска под командой капитана Орлова причину ареста объяснил тем, что у Костылева, якобы, хранятся пулемет и гранаты. Перед обыском Костылева избили ивовыми палками так, что у него из носа пошла кровь. Не найдя ни пулемета, ни гранат, забрали вещи сыновей, весь хлеб в зерне, а самого Костылева засадили в Ровдинское арестное помещение. Избиением при аресте дело не кончилось. Орлов приставал к Костылеву на допросе: „Говори, где у тебя спрятаны пулеметы и гранаты? Не скажешь—приведем попа, заставим покаяться, потом повесим". Костылев ничего не знал и сказать не мог. Удар рукояткой револьвера по голове свалил его на пол... Через несколько дней—снова допрос, подкрепленный ударами офицерских кулаков по лицу. Избавился Костылев только тем, что сумел убежать в расположение частей Красной армии.

В Пакшеньге, Пинежского уезда, в числе других стариков был арестован 77-летний Егор Щеголихин. Причин ареста старики не знали, но все они были отцами сыновей, ушедших в Красную армию. Четырех из арестованных ночью повели в Карпову Гору в контрразведку. Ноги стариков отказывались итти, но один из конвоиров, оказавшийся земляком арестованных, подбадривал: „Кто не может итти, того будем колоть на месте". На лошади попутчика добрались до дер. Труфана-Гора, где их посадили в „холодную"—бывший кабак. Дальнейшие мытарства арестованных приведем по рассказу Щеголихина Егора: „В эту ночь набили в холодную 24 человека. Все замерзли, сидя без огня, без хлеба. Рядом (комендантская) были слышны песни, пляска, пьяные голоса. Затем в полночь дверь у нас открылась, и пьяные песенники кричат нам: „Выходи!" Я подошел первым и сразу же получил удар кулаком в лицо, потом били железным прутом по ногам и по чему попало. Бить начали всех железными прутьями, досками, ногами, кулаками, плетками... У нас поднялся крик, стоны, все мы были в крови. На крик сбежалась чуть не вся деревня... Утром пришел комендант, спросил „живы?"—вывел на улицу и отправил в Пинегу. До Пинеги едва дотащились, некоторые в ней и умерли".

Из Пинеги после допросов арестованные были отправлены в Архангельск. Щеголихин после избиения ослеп.

В Смотроковской волости, Шенкурского уезда, в ноябре 1918 года был арестован крестьянин М. З. Долгобородов. Его арестовали, когда он шел в другую деревню на собрание в управе. Белогвардейцы ехали на лошади. Забрав к себе Долгобородова, они принялись его избивать плетью и прикладами. Доставили в управу. Оттуда, по распоряжению офицера,—в арестное помещение. Здесь снова избиение плетью. Вскоре Долгобородова доставили под усиленным конвоем в Шенкурск, в союзническую контрразведку. При сдаче в уездную тюрьму Долгобородова

избили прикладами. От одного увесистого удара сломилось ложе винтовки, из магазинной коробки посыпались патроны. Дальше пошли допросы с угрозами — пристрелить на месте. Поводом к аресту Долгобородова послужило обвинение в большевизме из-за обнаруженного у него устава социал-демократического кружка.

Красноречиво говорят, насколько распоясались интервенты и белогвардейцы, сотни кошмарных фактов. Вот несколько из них. Тов. Залывский (сидел в числе 23 человек в Карповой Горе, Пинежского уезда) вспоминает: „Всю ночь в камере никто не спал. Многих водили на допросы и били. Одних водили один раз, других, в том числе и меня,—по три раза, некоторых даже по четыре. И каждый раз били... Все мы ждали, что вот-вот поведут на расстрел. Приходили английские офицеры и солдаты, плевали на нас и бросали в лицо непотушенные окурки. Утром 15 человекам из нас связали веревками руки назад и повели в Шатову Гору".

Бить с остервенением при аресте, при допросе, под горячую руку, бить чем попало—кулаками, стэком, револьвером—стало обычным делом господ офицеров. Если этого было мало, палачи инсценировали расстрел.

„В камеру (с. Березник) вошел Терентьев,—вспоминает один из бывших арестованных,—и предложил собираться. Я хотел надеть тулуп. „Ничего не потребуется",—сказал он, давая знать, что ведут на расстрел. На улице меня окружили восемь солдат и повели на реку. Остановились у выселка в три дома. Меня поставили. Появился Туркевич (контрразведчик) с офицерами. Тут же был и офицер-американец... Туркевич скомандовал „взять на мушку..." Я был под прицелом солдат и ожидал: „пли..." „Отставить,—закричал Туркевич и, подойдя ко мне, ткнул хлыстом, сказав:—Крепок, собака".

Им ничего не стоило расстрелять совершенно безвинного человека, беззащитного старика: „Белые заняли д. Пучугу. Ворвались англичане в один из домов к семидесятилетнему старику-крестьянину, который спал; его старуха сидела и пряла лен. Белые, угрожая оружием, стали выпытывать о положении советской власти, о количестве войск. Но старуха ничего не знала. Спросили, есть ли у них в доме большевик. Старуха, не задумываясь, указала на спящего старика-большака, как обычно называют хозяина в крестьянской семье. Этого для белых было достаточно. Старика стащили с постели, отвели на опушку и расстреляли".

Но наиболее бесчеловечно показали себя белогвардейцы в обращении с коммунистами, членами исполкомов. В конце 1919 года в их руки в с. Берколе попали четыре члена Пинежского уездисполкома тт. Мельников, Никулин, Федоров, Смоленский и пятый—работник из волости—Сохновский. Как показывали свидетели, как показал советскому суду (в 1926 году) сам белогвардеец Кобылин (в прошлом крупный лесопромышленник и торговец Пинеги), руководивший расправой с „комиссарами", эти пять товарищей после издевательств над ними были утоплены

живыми в заранее приготовленной проруби на реке Пинеге. Предварительно их раздели донага, связали им руки и стали понуждать добровольно прыгать под лед. Когда арестованные не подчинились, их стали избивать прикладами, штыками и на штыках погружать в прорубь. Труп одного из них — Федорова — был найден в воде летом 1920 года со связанными назади руками и тринадцатью глубокими штыковыми ранами.

Нет сведений, кем из белых и при каких обстоятельствах в ночь с 7 на 8 сентября 1919 года в двух верстах от деревни был расстрелян весь Тамицкий волисполком, Онежского уезда. Официальный документ об этом расстреле не говорит и о партийности расстрелянных: указана только выполнявшаяся ими работа. Все расстрелянные из одной волости, одного Тамицкого общества: 1) И. М. Кабиков, 46 л., председатель вика; 2) Н. А. Воронин, 46 л., секретарь вика; 3) Ф. А. Шадрин, 35 л., тов. председателя; 4) Ив. Ф. Волков, 42 л., зам. зав. лесным отделом; 5) М. С. Зотов, 22 л., делопроизводитель; 6) А. Е. Васькин, 26 л., милиционер.

В Польском сельсовете, того же уезда, из девяти человек, подвергшихся репрессиям, шестеро расстреляно, седьмой убежал с места расстрела, и только двое отделались тюрьмой. Из шести расстрелянных—трое пленных красноармейцев.

В с. Нюхче (Карелия) лейтенант Рублевский проводил мобилизацию в белую армию. Так как крестьяне от этого уклонялись, Рублевский схватил шесть человек и той же ночью, объявив от имени английского правительства приговор, расстрелял.

Пребывание белых в Яренском уезде, населенном преимущественно коми (зырянами), сказалось полным разрушением хозяйств коми-крестьян. Белогвардейцы, по традиции „истинно-русских", считали коми „инородцами", с которыми можно поступать, как заблагорассудится.

В Яренский уезд, отстоящий за сотни километров от основных баз снабжения, мало или совсем не забрасывалось продовольствия для действовавших там белогвардейских частей. Продовольствие добывалось белыми на месте путем реквизиций, вырезки скота. На весь уезд наложил свою кровавую руку капитан Орлов. Председатель уездной комиссии по установлению жертв и зверств, учиненных белыми, приводит данные, что по уезду было расстреляно до ста человек. Только в селах Айкине, Устьвыми и Коковицах капитан Орлов расстрелял более 40 человек, причем расстреливаемые подвергались издевательствам и мучительным пыткам. В с. Айкине схваченный врасплох местный фельдшер, секретарь ячейки РКП, был утоплен в проруби живым, а плакавшую семью, в том числе и детей, на два дня посадили в холодный сарай и после, по приказу Орлова, избили нагайками и шомполами. Один моряк из действовавшего в уезде отряда попался в плен белой разведке. Моряка привели на Вычегду и приказали рубить прорубь. Тот отказался. Тогда ему перерезали сухожилия локтевого сустава, а прорубь сделали сами и с напутствием—„будь водяным комиссаром" сунули под лед.

Непередаваемым кошмаром всплывают картины белогвардейских расправ на Печоре. Многоводная Печора схоронила в себе сотни замученных коми-партизан, трудовых крестьян, красноармейцев.

С приходом белогвардейцев обнаглевшее кулачество Печоры подняло голову. Кулаки становились во главе карательных отрядов, руководили расправой, расправлялись собственноручно. Так, например, печорский кулак из деревни Лащ—Попов, до прихода белых разыгрывавший из себя коммуниста, при белых ловил коммунистов и сочувствующих и предавал их. Из-за предательства Попова в с. Изваиль в руки белых попали пять коммунистов—братьев Уляшовых и часть сочувствующих. Избитых до полусмерти, их повели в штаб. Дорогой снова избили прикладами, нагайками, стреляли над их головами, издевались. В штабе опять избиение, допрос с угрозами пристрелить на месте, а присутствовавший тут же кулак Попов приговаривал: „Это вам реквизиция, это вам свобода, это вам „советы". Никакие пытки и угрозы не могли сломить Уляшовых. Случайно вырвавшись из белогвардейского застенка, они после долгих скитаний добрались до красноармейского отряда, с которым отняли у белых свой Изваиль, и во главе организованного ими изваильского партизанского отряда поднялись на белых. В ноябре 1919 года, когда почти вся область Коми была под властью белых, в их руки попал, преданный своим бывшим „другом", один из братьев Уляшовых — Егор. Белогвардейцы изрубили его на куски в Троицко-Печорске. После разгрома партизанского отряда к белым попали еще два брата Уляшовых. По показаниям свидетелей, им выкололи глаза, отрезали пальцы, уши, носы и пр., а обезображенные трупы бросили в прорубь. Таким же образом погиб четвертый брат Уляшов, погибла большая часть отряда, и последним—пятый из братьев—организатор и вдохновитель партизанской борьбы Изваиля, председатель волисполкома Дмитрий Дмитриевич Уляшов. Для него бандиты приберегли особые мучения. „После оплеух, плевков, зуботычин раздели его донага, потом посадили на лед, опускали в прорубь, поднимали, гоняли и снова опускали в прорубь. Вечером кормили, поили водкой, а утром то же самое,—и так в течение трех дней. Наконец, должно быть, пресытившись, Уляшова голым, привязанного к дереву, оставили на ночь. Утром Уляшов замерзшим трупом был брошен в Ижму".

Приведенные отдельные факты о белом терроре в уездах — только незначительная доля из всего пережитого подвергавшимися арестам. Большая часть самых жутких фактов осталась тайной контрразведок, тайной, похороненной вместе с замученными и расстрелянными.

СОДЕРЖАНИЕ

Архангельское Государственное Издательство просит читателей и библиотеки присылать свои отзывы об этой книге по адресу: Архангельск, ул. Урицкого, 5 Архоблгиз

Редактор *М. С. Пирогов* Техред-корр. *А. А. Веселовская*
Обложка *В. Г. Постникова.*
Уполн. Архобллита № Б—71. Огиз № 978. Инд. П-16. Тираж 10 000.
Уч.-изд. л. 7,5. Печ. л. 7,25. Бум. л. 3,63. Зн. в б. л. 94656. Формат 60×92/16.
Сдано в набор 3/III 1939 г. Подписано к печати 31/V 1939 г. Заказ № 31.
Цена 1 р. 20 к., переплет 70 коп.
Тип. изд-ва „Красный Север“, Вологда, ул. К. Маркса, 70.

Эк

1 р. 90 к.

0=19 коп.